

A portrait of Denis Dragunsky, a man with a mustache, wearing a grey cap, glasses, a blue shirt, and a dark jacket. He is holding a large white rectangular sign in front of him.

*Денис Драгунский*

**ЖИЗНЬ**  
**Дениса Кораблёва:**  
**Филфак и вокруг**

АВТОБИОРОМАН С ПОЯСНЕНИЯМИ



**ЦЕ**  
РЕДАКЦИЯ  
ЕЛЕНЬ ШУБИНОЙ

Драгунский: личное

Денис Драгунский

**Жизнь Дениса Кораблёва.  
Филфак и вокруг:  
автобиороман с пояснениями**

«Издательство АСТ»

2026

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

### **Драгунский Д. В.**

Жизнь Дениса Кораблёва. Филфак и вокруг: автобиороман с пояснениями / Д. В. Драгунский — «Издательство АСТ», 2026 — (Драгунский: личное)

ISBN 978-5-17-181804-3

“Жизнь Дениса Кораблёва: Филфак и вокруг” – продолжение бестселлера “Подлинная жизнь Дениса Кораблёва”. Там дело кончается поступлением в Университет на отделение классической филологии. Здесь – всё, что случилось потом: легендарные преподаватели, друзья-однокурсники, стройотряд и “картошка”, латынь и греческий, библиотеки и византийские манускрипты, вечеринки и, конечно, романы, влюбленности и измены. Предельно (а чаще всего – беспредельно) искренний рассказ о себе. В книге присутствует нецензурная брань! В формате PDF А4 сохранен издательский макет.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-181804-3

© Драгунский Д. В., 2026  
© Издательство АСТ, 2026

## Содержание

1. Начало	6
2. Морковка	20
3. Византия	27
4. Дубулты	38
Словарь А – В	51
А	51
Б	56
В	60
5. Стройотряд	63
Конец ознакомительного фрагмента.	67

# **Денис Драгунский**

## **Жизнь Дениса Кораблёва. Филфак и вокруг. Автобиороман с пояснениями**

Художник Андрей Бондаренко.

Фото автора на переплете Дмитрий Галантерник.

Фото на форзаце – В. Савельев / РИА Новости, на нахзаце – В. Вяткин / РИА Новости.

© Драгунский Д. В.

© Бондаренко А. Л., художественное оформление.

© ООО “Издательство АСТ”.

\* \* \*

## 1. Начало

В 1973 году я окончил филфак МГУ. Было место в аспирантуре – даже два места, для меня и для моего однокурсника Миши Бибикова – в Институте истории СССР, в отделе, где занимались античными и византийскими проблемами. Заведующий этим отделом профессор Владимир Терентьевич Пашуто нас и позвал.

Там была необычная ситуация. Историк Антоний Флоровский – брат знаменитого богослова Георгия Флоровского – завещал деньги для стипендий молодым российским ученым. Этот, выражаясь по-нынешнему, грант попал в Институт истории СССР. Но сам Флоровский жил и умер в Европе – выражаясь по-тогдашнему, был *белоэмигрантом*. Грант от эмигранта, такое везение.

Вдруг бабах! – родной факультет мне не подписывает характеристику. Что такое характеристика в те годы? Это на самом деле рекомендация. А партком факультета мне эту рекомендацию не дает. Почему? Никто ничего не может толком объяснить. Прихожу к нашему факультетскому партсекретарю профессору Юшину, а он говорит: “Что же вы, дорогуша, так плохо изучали политэкономия? Вот у вас по политэкономии социализма – тройка. Нехорошо. А по капитализму – четыре. Если бы наоборот, еще туда-сюда. А так – идеологически неправильно давать вам положительную характеристику”. Ясно, что врет. Надо что-то делать или хотя бы понять, в чем дело.

У меня был друг Саша Жуков, у него отец был академик, директор Института всеобщей истории. Я набрался сил и попросил у него помощи. Академик – Евгений Михайлович Жуков – позвонил секретарю парткома МГУ товарищу Протопопову: “Что случилось? Такой способный молодой человек!” Казалось бы, звонок от члена президиума АН СССР, председателя Международного комитета историков и прочая и прочая... Но ничего не вышло, и вот почему: на подъеме была очередная волна эмиграции, и именно в те два-три года (1973–1975) с отъезжантов решили взыскивать деньги за обучение. Вас, ребята, бесплатно учило наше советское государство – теперь верните ему потраченные на вас деньги. С тех, кто просто окончил вуз, планировалось брать что-то около четырех-пяти тысяч рублей: сумма серьезная, но в общем-то подъемная для советской семьи – дешевле автомобиля. А с окончивших аспирантуру – чуть ли не пятнадцать тысяч, невообразимо! Товарищ Протопопов всё объяснил: “Этот ваш Драгунский – мало того что еврей по отцу, а отец его вдобавок еще и в Нью-Йорке родился. Рано или поздно такие люди эмигрируют. Вот он однажды решит уехать, мы с него захотим взять пятнадцать тысяч за аспирантуру, а он скажет: «Я не на ваши советские деньги учился, а на иностранный подарок белоэмигранта Флоровского, поэтому фигу вам с маслицем». И ведь будет прав! И мы будем вынуждены отпустить его бесплатно. Так что извините”.

Я бросился к своим, на кафедру. Говорю: “Это несправедливо. Я два с половиной года был председателем научного студенческого общества. Был членом комитета комсомола. Помогал кафедре, вел занятия по латыни со студентами отделения русского языка, когда у нас не было людей, – теперь помогите мне!”

\* \* \*

Но давайте с самого начала.

Первого сентября 1968 года было воскресенье. Повезло! Первый день занятий 2 сентября. Было очень солнечно. Вообще всё лето было солнечным, и так продолжалось почти до конца осени. Мы собрались на психодrome. Мы – это счастливицы, которых приняли на первый курс филологического факультета МГУ. А психодром – это скверик старого университет-

ского здания за чугунным забором с двумя калитками справа и слева, с двумя памятниками – Герцену и Огареву из серого бетона, которые прятались по углам, в кустах. Они были почти одинаковые. Я смотрел на них два года, но так и не запомнил, где там Герцен, а где Огарев. Кажется, Огарев слева – ближе к филфаку.

Посредине этого очень красивого здания, выстроенного покоем, был выступ с восьми-колонным портиком и двумя лестницами, ведущими в читальный зал, где я никогда не был. Внизу, под этими лестницами, – узкий полукруглый ход в довольно длинный, метров пятьдесят, тоннель, который выводил – и сейчас, наверное, выводит – в огромный старый университетский сад. Если войти в этот тоннель с психодрома, то сразу направо была большая столовая, в которой мы довольно часто обедали и пили пиво, иногда со сметаной, была у нас такая странная забава. А в конце тоннеля был туалет. По этой причине сам тоннель назывался “пищетракт”. В правом крыле был маленький скромный вход в знаменитый Институт восточных языков МГУ, который года через три переименовали в ИСАА, Институт стран Азии и Африки. А вот слева, ближе к улице Герцена, – такая же скромная дверь с маленькой вывеской “Филологический факультет”.

Итак, мы стояли на психодrome – нам велено было прийти к девяти утра. Стояли толпой, не решаясь войти в эту маленькую дверку, и правильно делали. Потому что из этой дверки вышел какой-то человек и сказал: “Первокурсники! За мной!” Мы вышли из калитки, перешли улицу Герцена и вошли в другую калитку, в так называемое новое здание университета, творение архитектора Евграфа Тюрина и построенное лет через пятьдесят после первого, старого, которое строил великий Матвей Казаков. Вот почему Солёный из “Трёх сестер” говорил, что в Москве два университета. Это мне кто-то умный объяснил за те три минуты, пока мы шли с психодрома вслед за нашим провожатым. Обогнув памятник Ломоносову, мы вошли в роскошное парадное здание экономического факультета (в 1970-м туда переехал журфак). Кстати, именно там мы писали вступительное сочинение, потому что в нашем здании больших аудиторий не было.

Поднявшись по внутренней парадной лестнице, мы вошли в Комаудиторию (тогда она так называлась – Коммунистическая, бывшая Богословская, ныне Академическая) – огромный амфитеатр с полукруглыми дерматиновыми скамейками и удобными полочками, которые тоже шли полукругом и позволяли разложить книги и тетрадки для конспектов.

Началась торжественная церемония вручения студенческих билетов. Какие-то нам тогда еще неизвестные мужчины и женщины сидели за столом, а на кафедру вышел мужчина в черном костюме с довольно противным выражением лица. Казалось, он был чем-то сильно недоволен. Его длинный нос спускался к верхней губе, которая кривилась в презрительной усмешке. Кто-то сказал, что слово предоставляется декану филологического факультета доценту (мы все это сразу отметили – не профессору, а доценту) Алексею Георгиевичу Соколову. “Ну и рожа!” – сказала какая-то незнакомая девушка, сидевшая рядом со мной. Я решил заступиться за декана и сказал: “Ну и что такого, рожа как рожа”. – “Нет, ты посмотри, – прошептала она, – как губы надул и глазами вертит, как будто...” – “Как будто что?” – спросил я. “Как будто пирожок кушал, а там лягушка оказалась. Глотать противно, а выплюнуть неудобно”. – “Какая одаренная девушка! – подумал я. – Какой талант образности!”

Декан Соколов, в отличие от двух следующих деканов, Леонида Григорьевича Андреева и Ивана Федоровича Волкова (которых я не застал деканами, но знал профессорами и не раз общался с ними), всегда казался мне человеком холодным и надменным. Впрочем, я с ним никогда не разговаривал, но вид у него был именно такой. Однако через много-много лет одна моя хорошая знакомая, которая писала под его руководством то ли диплом, то ли диссертацию, убежденно говорила, что Алексей Георгиевич человек очень добрый, милый, тонкий знаток литературы Серебряного века, а кроме того, фотограф-любитель. Но любитель серьезный, у

него были какие-то особенные фотоаппараты и объективы, и он делал потрясающе красивые женские портреты. Ну что ж, бывает.

Тем временем декан Соколов произнес короткую речь, почему-то подчеркнув, что перед нами открывается прекрасная и, можно сказать, святая перспектива – стать народными учителями. Он так и сказал. Потом я понял, что это было отражение какого-то глубокого идейно-методического конфликта в руководстве филологического факультета. Одни считали, что задача филфака – готовить исследователей, ученых, а другие – что готовить надо учителей. Сейчас мне кажется, что в этом споре, скорее всего, было что-то личное. Кому-то декан Соколов хотел накрутить хвоста, потому что учителей все-таки, хочешь не хочешь, готовят в педагогическом институте. Я говорю об этом с такой уверенностью, потому что на третьем курсе был свидетелем открытой стычки – на глазах чуть ли не всего филфака – между деканом Соколовым и его заместителем, доцентом Михаилом Никитичем Зозулей. Доцент Зозуля, обращаясь к нам, говорил, что мы должны делать новые открытия, становиться учеными, раздвигать горизонты науки и так далее, а выступивший вслед за ним декан Соколов тут же сказал: “Михаил Никитич ошибается, филфак готовит народного учителя”.

Закончив свою речь, декан Соколов слез с кафедры и подошел к столу, на котором уже лежали студенческие билеты, разложенные по алфавиту. Он стал называть наши фамилии. Мы по очереди сбегали со ступенек этого довольно-таки крутого амфитеатра, взбегали на сцену, получали билет, напутственное рукопожатие, шли на место, а навстречу несся наш следующий однокашник или однокашница. Мне достался студенческий билет, на который я, разумеется, сдал самую красивую свою фотографию. Я был на ней кудряв и очень усат. Но вот чёрт! Печать была какая-то раскляксанная, смазанная. Из-за этого со мной случилось забавное и малоприятное приключение, о котором я расскажу позже.

А лучше прямо сейчас, пока остальные ребята получают свои студбилеты.

\* \* \*

Однажды осенью 1972 года случилось так, что я заснул в зале ожидания Савёловского вокзала. Была ночь.

Оказался я там по такой вот причине. Через несколько месяцев после смерти папы (он умер в начале мая, а это был уже октябрь) у моей мамы завелся, скажем так, близкий друг – и вот как раз в тот день он собрался к маме в гости. Это был хороший человек, между прочим, я с ним даже подружился. Довольно известный республиканский поэт. То есть не республиканец в противовес американским демократам или европейским монархистам, а поэт одной из автономных республик в составе Российской Федерации. Человек, еще раз повторяю, талантливый, милый и приятный.

Тем не менее оставаться дома мне не хотелось, и я решил пойти к своему другу Коле Мастеропуло, который жил на Каляевской в стареньком деревянном доме на втором этаже. В его квартиру был отдельный вход со двора через галерейку – длинная лестница наверх, с дощатыми стенами и крышей. Разумеется, в таком доме телефона не было, но я почему-то был уверен, что Колька у себя. И поэтому сказал маме, что Колька давно меня ждет, мы с ним выпьем, поболтаем и я у него заночую.

Тут была еще одна тонкость. Я уже был женат. Но с моей обожаемой женой Кирой мы со второго дня после свадьбы были в тяжелой невылазной ссоре. Поехать к ней – мне такое и в голову прийти не могло. Были, впрочем, еще две девочки – Леночка Большая и Леночка Маленькая. Но обе они, как на грех, были дома в кругу – верней, в кругах – своих семей. То есть с родителями.

А к другу Андрюше Яковлеву я не поехал – точно не помню почему. То ли его не было в Москве, то ли я просто не хотел отвечать на вопрос, чего это я на ночь глядя явился к нему

с ночевкой. Боялся, что проговорюсь насчет мамы, поскольку не хотел афишировать ее отношения с республиканским поэтом. Я совершенно точно знал, что Кира ни с какой бухты, ни с какой барахты мне в полночь звонить не будет. Хотя кто ее знает... Поэтому на всякий случай я сказал маме: если мне позвонят, скажи, что я давно и крепко сплю и ты меня будить не собираешься. То есть я сам себе вырыл эту яму. Потому что Кольки дома не оказалось, а прикорнуть у него под дверь в этой холодной галерейке я просто-таки испугался: вдруг замерзну совсем до смерти?

Но стоило мне только задремать в зале ожидания пригородных поездов Савёловского вокзала, как ко мне тут же подошли два милиционера. “Документики”, – спросили они. Очевидно, я слишком сильно выделялся среди окружающей публики – мужиков в ватниках и теток в плюшевых душегрейках. Паспорта у меня с собой не было, и я протянул студенческий билет. “А документик-то фальшивый! – радостно закричал милиционер. – Пройдемте”. – “Почему это фальшивый?” – возмутился я. “А сам посмотри, какая печать. Эх ты, руки-крюки! – он даже похлопал меня по плечу. – Давай рассказывай цель приезда в Москву, когда и откуда”. Мы с ним долго препирались, он даже позвонил в какую-то главную милицейскую картотеку города Москвы, и, о ужас, моих имени-фамилии там не было! Каких-то знакомых и незнакомых Драгунских – полно, а меня нет! Тогда я назвал ему свой адрес и телефон. Сказал, что мою маму зовут Алла Васильевна, хотя, конечно, до смерти не хотел этого делать. Но лучше уж так, чем КПЗ, подумал я. Через восемь или двенадцать гудков мама сняла трубку. “Алла Васильевна! – вежливо сказал милиционер. – Позовите, пожалуйста, вашего сына Дениса Викторовича”. – “Он спит, – ответила мама. – Я не буду его будить”. – “Вот видите! – милиционер от радости даже на «вы» перешел. – Назовите цель приезда в Москву, когда и откуда”. Тут я вырвал трубку у него из рук и закричал: “Мама, я здесь!” Как ни странно, милиционер мне тут же поверил и сказал: “Теперь освободите помещение”. Я спросил: “А никто из вас случайно не поедет патрулировать в район сада «Эрмитаж»?” Он засмеялся и сказал: “Черт с тобой, дозем!” Вызвал какого-то другого парня, что-то ему сказал... В общем, я первый раз в жизни ехал на мотоцикле с коляской – в коляске. Ехал и думал: слыханное ли дело, меня нет в главной московской милицейской картотеке! Наверное, этим можно воспользоваться, но как?

\* \* \*

Тем временем декан Соколов закончил раздавать студенческие билеты и объявил, что сейчас будут две вводные лекции. Введение в специальность.

Эти лекции читали два легендарных профессора – литературовед Роман Михайлович Самарин и лингвист Юрий Сергеевич Степанов.

Самарин, как я узнал чуть позже, был легендарен тремя вещами. Он был выдающийся лектор, он так поразительно читал историю европейской литературной критики, что послушать его приходили студенты других специальностей и даже, кажется, с других факультетов. Мало того что он досконально знал материал, он потрясающе хорошо умел его преподносить. Кроме того, он был специалистом по Шекспиру и вообще по классической западной литературе. Вторая его легендарность – он был не просто марксист, как все тогда, по печальной необходимости, – нет. Он был упертый марксист грубого помола. “Попахивает переверзевщиной!” – говорили о нем эрудиты-аспиранты. Валериан Переверзев, если кто не в курсе, был такой литературовед 1930 годов, который до того прямолинейно сводил всю литературу к классовый борьбе, что даже советская официальная критика начала борьбу с переверзевщиной. Опираясь на цитаты Маркса, Ленина и Сталина, товарищу Переверзеву и его сторонникам объяснили, что литература – это все-таки не фотография классовый борьбы. Но Самарин был неуправляемым марксистом. Вдобавок он выступал с погромными речами и статьями, клеймил антисоветчиков и космополитов, но сам при этом был беспартийным.

Третья легенда: шептали, что Самарин – незаконный сын известного литературоведа 1920–1930-х годов академика Белецкого.

Выглядел он очень картинно и живописно: коренастый, полноватый, с толстым круглым носом, с широкими сильными руками, в черном, как казалось, мешковатом костюме, на котором единственным украшением была золотая прищепка на лацкане, от которой шла золотая цепочка к часам в нагрудном кармане пиджака. В дополнение к этому короткая седая стрижка и хриплый бас.

Последняя легенда о профессоре Самарине вскрылась сравнительно недавно. Оказалось, что этот правоверный марксист тайком писал стихи, оплакивающие судьбу казаков с проклятиями в адрес большевиков. Разыскано это было, разумеется, через много лет после смерти профессора. Возможно, в этом и был секрет его твердокаменного марксизма: гримировался.

Впрочем, это не единственный такой случай на филфаке. Был у нас еще один профессор, Геннадий Николаевич Поспелов, заведующий кафедрой теории литературы. Скучнейший, надо сказать, лектор, излагавший всё те же самые марксистско-ленинские догмы, даже не пытаясь придать им хоть какой-то подвыверт, как это делало большинство советских гуманитариев. И лицом – типичный советский чиновник от науки. Как говорится, долдон. Как же я изумился, когда узнал, что едва ли не самый знаменитый диссидентский текст 1960-х, так называемое “Завещание академика Варги”, блистательный анализ советской идеологии и экономики, со всеми убийственными характеристиками и властной верхушки, и ко всему привыкшего народа, подписанное именем пару лет назад (от того момента) умершего “крупнейшего советского ученого, выдающегося деятеля международного рабочего движения”, венгерского коммуниста, классика советско-марксистской экономической мысли (мемориальная доска с красным знаменем на доме № 11 по Ленинскому проспекту, улица его имени на Юго-Западе), – что этот текст написал наш Геннадий Николаевич, этот – простите нас, профессор! – застегнутый на все пуговицы советский долдон. Впрочем, был случай, когда Поспелов чуть-чуть себя не выдал: он был, кажется, единственным видным профессором филфака, который почти демонстративно не подписал письмо с осуждением Синявского и Даниэля.

Профессор Самарин громко и хрипло объяснял нам задачи советского литературоведения, рисовал перед нами горы книг и стога статей, которые мы должны обязательно прочесть, и вдруг ему подали записку из зала. Ее послал какой-то шутник, наверное. Не помню уже, что там было, но Самарина возмутило, что записка была написана по старой орфографии. А в начале было написано (всё это он прочитал громко вслух) “проба пера” через ять. “«Перо» через ять! – загрохотал Самарин. – Это ж надо! Это же все равно что писать «корова» через ять! Если уж вы написали мне по старинке «проба пера», то я вам по старинке отвечу: «Примите и проч.»». – И чуть ли не закричал: – Но «прочь» с мягким знаком! Прочь отсюда!” – и своим коротким пальцем ткнул в аудиторию, как будто знал, кто ему написал. Никто, разумеется, не откликнулся.

А следующую установочную лекцию, по языкознанию, читал Юрий Сергеевич Степанов, тогда профессор, впоследствии академик. Степанов – полнейшая противоположность Самарину. Во-первых, молодой. Во-вторых, худощавый, изящный, ухоженный. В красивом светло-бежевом костюме. И вообще весь нежный, бархатистый. Говорящий мягким тенором. И если Самарин просто стоял на кафедре и только изредка воздевал руку, работая в основном голосом (то есть вел себя как типичный римский оратор), то Степанов был как оратор греческий, для которого важнее всего жесты. Он расхаживал по эстраде, то подходил к кафедре, то отбежал от нее, то садился на длинный, застланный сукном стол, то снова возвращался к кафедре и опирался на нее локтем, как будто пригорюнившись, и вся его фигура от безупречно причесанной макушки до светлых замшевых туфель была изящна, как будто бы нарисована французским художником. И сам он был чрезвычайно французский. Про него рассказывали, что он был личным переводчиком Хрущева с французского языка и что якобы Хрущев в благодарность за

службу подарил ему кафедру общего и сравнительно-исторического языкознания на филфаке МГУ. Думаю, что в этой легенде, как и во всякой байке или сплетне, только кусочек правды. Вполне возможно, что Степанов действительно служил кремлевским переводчиком какое-то время, но вот насчет дареной кафедры явные выдумки. Мне особенно приятно было слушать Степанова, потому что я с ним был знаком. Меня ему представил еще в 1966 году Симон Маркиш, переводчик Плутарха. Должен признаться, что я не умел, как сказано у Льва Толстого, “*кюльтивировать знакомства*”. Поэтому, несмотря на все добрые улыбки и кивки Степанова в коридоре, – он, очевидно, меня узнавал, – я к нему так ни разу и не подошел. Впрочем, мне это было незачем. Я не собирался заниматься общим, а тем паче сравнительно-историческим языкознанием. Но, соображая задним числом, я думаю, что знакомство с Юрием Сергеевичем мне помогло жить на факультете. Возможно, какой-то мимолетный кивок Степанова, услышавшего мою фамилию, шел в копилку мнений обо мне как о “*блестящем студенте*”.

Странное дело. Честно говоря, учился я так себе. Я не был отличником. Случались и тройки, и пересдачи, и хвосты, и позорные провалы – например, первый незачет по немецкому. Тем не менее ко мне крепко приклеился ярлык “*блестящего студента*”. Я попытаюсь разобраться, понять и рассказать, в чем тут было дело.

Но вот вводные лекции закончились, и мы толпой повалили назад, на психодром. Долго втискивались в эту маленькую дверку – как странно, такой можно сказать, важный факультет, главный среди гуманитарных, и такое скромное помещение. Потом я узнал, что это крыло старого “*казаковского*” здания университета было общежитием. Но общежитием старинным, тогдашним, XVIII – начала XIX века. В комнате, в которой мы, то есть наш курс нашей кафедры, обычно занимались, на стене висел большой портрет Белинского. Нам объяснили, что именно вот в этой келье Белинский и жил, когда учился в Московском университете.

\* \* \*

В эту келейку и запикивалась наша группа: Миша Бибииков, Лена Ильенкова, Толя Юдакин, Галя Ильина, Оля Мазырина, Володя Синицын, Саша Луцков, Алеша Граве и я. Эти девять человек поступили в 1968 году. И еще к нам присоединился Валентин Асмус. У него год назад, в самом начале первого курса, случился сложный перелом руки, так что он совершенно не мог писать, и ему дали академический отпуск. Итого десять человек. Давайте теперь чуточку подробней.

Миша Бибииков – тот самый абитуриент, который помог мне сдать экзамен по истории, испросив разрешения пользоваться школьным учебным атласом, а в атласе были все населенные пункты и даты, в результате чего я отлично ответил на вопрос о разгроме врангелевских армий, к чему совершенно не был готов. Сейчас он профессор, выдающийся византиновед, заведующий профильной кафедрой на филфаке, автор двухтомника “*Byzantinorossica. Свод византийских свидетельств о Руси*”. Уже с третьего курса мы с ним устраивали на факультете маленькие конференции под названием “*Византино-русские чтения*” – вот отсюда, наверное, это и выросло.

Лена Ильенкова потом стала историком психологии, вышла замуж за великолепного журналиста и писателя, ныне покойного Андрея Иллеша, и стала звучать совсем уже по-заграничному – Елена Эвальдовна Иллеш. Андрюша Иллеш был действительно на четверть венгр, внук писателя-коммуниста Белы Иллеша, а вот Ленкин папа Эвальд Васильевич был совсем русским, сыном не особо известного литератора 1930-х годов Василия Ильенкова. Эвальд Васильевич был знаменитым советским философом, культовой, как нынче выражаются, фигурой, основателем целого научного направления. “*Он настоящий ильенковец!*” – бывало, говорили тогда про какого-нибудь молодого философа, и для одних это было выражением восторга, а для других – клеймом.

Толя Юдакин, впоследствии профессор-лингвист, был человеком необычным. Настоящий донецкий шахтер. Попал в подземную аварию. Ему отдавило правую руку, она стала тонкая и слабая. Он получал большую пенсию, и вдруг – как рассказывал он сам – ни с того ни с сего заинтересовался древними языками. Скупал книги, в основном через “Книгу – почтой” (был такой, говоря по-нынешнему, сервис), благо денег было много – и отложенных из заработка, и пенсионных. Набрал библиотеку в пять тысяч томов, всё у себя, в Донецке. И вот решил наконец получить фундаментальное образование и поступил к нам на отделение классической филологии. Человек он был очень приятный, общительный, веселый и простой. Я несколько раз ездил к нему в общежитие готовиться к экзамену по латыни, читать и разбирать “Записки” Юлия Цезаря. Он очень хорошо объяснял разные трудные грамматические штучки, едва ли не лучше, чем наши прекрасные преподаватели. Как-то у него это очень четко и внятно получалось. Недаром он потом стал полиглотом. Не бросая филфака, он поступил в Институт восточных языков и там тоже окончил какое-то очень сложное отделение – кажется, изучал санскрит. Но именно оттого, что учился сразу на двух факультетах, в компаниях показывался довольно редко. Да он был и здорово старше нас – 1941 года рождения. Ну что значит здорово? Всего на девять лет. Но когда тебе восемнадцать, человек, которому двадцать семь, кажется если не стариком, то уж во всяком случае совсем взрослым.

Две девочки, Ильина и Мазырина, продержались у нас недолго. Возможно, они поступили к нам случайно, не имея какой-то высокой, она же глубокая или далекая, филологической цели. Про Мазырину было известно, что она была единственной, кто написал вступительное сочинение на пятерку. Случай исключительный – хоть запятую, но наврешь. Поэтому стандартно высокая отметка за вступительное сочинение на филфаке – это четверка. Странное дело, наш латинист Николай Алексеевич Федоров невзлюбил бедняжку Мазырину именно за эту пятерку. Ну хорошо, латынь она действительно не особо волокла, но зачем по поводу каждой ее ошибки поминать ей пятерку за сочинение, не понимаю. Кажется, Ильина и Мазырина потом перевелись на русское отделение. Почему-то это особенно возмущало Николая Алексеевича. “Кафедра классической филологии – это не трамплин, чтобы прыгать на другое отделение! – кричал он несчастным девчонкам. И добавлял: – Я лично добьюсь, чтоб вас не переводили, а отчислили из университета”. Но крики криками, а на отделение русского языка и литературы охотно принимали ребят, которые не справлялись с латынью и греческим.

Два парня, Сеницын и Луцков, были довольно странными персонажами. Если Толя Юдакин был шахтером, то Володя Сеницын был рыбаком с траулера, тоже рабочим человеком. Он опоздал к началу занятий на неделю, потому что его с траулера не отпускали. “Надо было рыбу шкерить! – растерянно объяснял он. – Я им справку о зачислении показываю и приказ министра, а они говорят: шкерить надо!” Учился он так себе, но, кажется, тоже не пропал: я его мельком встречал в библиотеке иностранной литературы уже после того, как он ушел с нашего отделения. Саша Луцков – бывший матрос торгового флота. Вылитый Костя-моряк из песни – высокий, красивый, смуглый, голубоглазый. Великолепно мускулистый, полный шуточек и прибауточек, пословиц и поговорок и замечательных полупристойных историй из своей моряцкой биографии. Так и хочется спросить словами из комедии Мольера: “Кой черт понес его на эту галеру?” Я имею в виду – на отделение классической филологии филфака МГУ. Мне почему-то казалось, что ему самый лучший путь был бы в ИМО, стать международным чиновником, каким-нибудь уполномоченным ООН по борьбе с засухой. Я так и видел его в шортах цвета хаки и в пробковом шлеме в окружении местных жителей, которым он привез пресную воду и мешки риса. Не знаю, как сложилась его судьба, помню только, что на втором курсе его уже не было. Через много лет мне сказали, что он сравнительно рано умер.

Алексей Граве был из Смоленска. Наш латинист Федоров спросил его, не родственник ли он известного актера из Вахтанговского театра. Алексей равнодушно помотал головой. Он был мрачноватый молчун. Потом он ушел из нашей группы, перевелся на романо-германское

и тоже не пропал. Через много-много лет я встретил его на книжной ярмарке. Мы узнали друг друга. Он сказал, что преподает итальянский. Так что всё в порядке.

И наконец, вернувшийся из академки Валя Асмус, ныне протоиерей, настоятель храма Покрова Богородицы в Красном Селе – недалеко от метро “Красносельская”. Умница, теолог, многодетный отец. Человек добрый, вдумчивый, сочувственный. А тогда – еще и очень веселый, компанейский. От тогдашней дружбы с ним у меня остались самые лучшие воспоминания. Сейчас мы встречаемся редко, но всякий раз это бывают приятные встречи.

\* \* \*

Первые два года нашими самыми главными преподавателями были двое.

Во-первых, Николай Алексеевич Федоров – латынь.

Может быть, я слишком часто употребляю слово “легендарный”, но что же поделать. Филфак действительно легендарное место, и профессора там легендарные, и многие студенты и аспиранты тоже – особенно те, которые потом достигли серьезных филологических высот. Например, Сережа Старостин, младше меня на один курс, выдающийся лингвист современности, или мой однокурсник, погибший в ковид Коля Богомолов, великий знаток русской литературы начала XX века, или Нина Брагинская, курсом старше. Еще Вера Мильчина, Оля Седатова, Саша Ливергант. Из тех, кто был старше нас на несколько лет, – Раскин, Долгопольский, Хелимский. Были и легенды мелькнувшие, оставшиеся только в нашей памяти, такие как Витя Манзюра или Саша Сахаров.

Николай Алексеевич Федоров настолько легендарен, что среди филологов-классиков есть такое деление – на тех счастливых и баловней судьбы, кто учился латыни у Федорова, и тех неудачников, которые пришли в филологию слишком поздно, когда Николая Алексеевича уже не было с нами. Кстати говоря, он вел занятия буквально до последних недель своей жизни, а умер он на девяносто втором году. Но тогда, когда мы пришли к нему, – или он пришел учить нас, – ему было едва сорок три. Нам он, однако, казался чуть ли не стариком. Серебряно-седой, худой, очень изящный, с красивым преподавательским голосом. Резкий, немножко нервный – мог повысить голос, хлопнуть ладонью по столу. Опрашивая нас, мог не называть фамилию, а просто тыкал пальцем – вы, вы, вы. Если мы ошибались, он всё время повышал голос: вы! вы!! вы!!!

Разгневанный Федоров бывал очень язвительен. Свои упреки и угрозы он называл “жалкими словами”, адресуясь к роману Гончарова “Обломов”: “Мне надоело говорить жалкие слова!” То есть – пора вас отчислять.

Он легко мог довести до слез юную, запуганную латынью первокурсницу. Как-то раз (уже в новом здании) я шел по пустому коридору – у нас было окно между занятиями – и увидел, что у стены стоит девушка и рыдает. “В чем дело?” – я бросился к ней. Наверное, она меня узнала и сказала, что Федоров ее выгнал с занятия и сильно отругал вдобавок. “Пойдемте со мной!” – я взял ее за руку, привел на кафедру и прямо с налету сказал нашей завкафедрой, самой Азе Алибековне Тахо-Годи: вот, смотрите, Федоров издевается, студентка плачет, это недопустимо, и мы будем принимать меры. Кто – мы? Я тогда был членом факультетского комитета комсомола и вдобавок председателем научного студенческого общества. То есть храбрый до чертиков. Аза Алибековна сама отвела девочку обратно в аудиторию. Я шел рядом.

С Федоровым у меня были неплохие отношения. Иногда мы перебрасывались двумя-тремя словами на совсем уж не филологические темы.

Однажды я очень обиделся на одну девушку, однокурсницу с другой кафедры. Она меня, если коротко, завлекла и бросила. Сильно завлекла, но бросила резко и оскорбительно. Сказала, что я у нее “второй заместитель”. Я не понял. Она объяснила, что называется, на пальцах: не может обещать, что пойдет ко мне в гости, потому что ждет звонка от Сережи. Если он до

семи не позвонит, она позвонит Диме. Ну а если Дима не захочет, тогда – может быть – мне повезет. Понятно? Я опешил от такого цинизма и трубку бросил. А через неделю она (издевательски, как мне казалось) позвала меня на свой день рождения. Мне захотелось ее ответно обидеть, оскорбить, обозвать дурным словом. Громко, но тайно! То есть – сказать всё, что я о ней думаю, но так, чтоб никто не догадался, кого я в виду имею. И вот, стоя рядом с Федоровым в буфете, я этак непринужденно спросил: “Николай Алексеевич, помогите неопытному юноше!” – “Да, постараюсь!” – отозвался он, чуточку даже польщенно. “Посоветуйте мне, что подарить на день рождения некоей обаятельной, но мерзкой девице? Я бы сказал, одной великосветской шлюхе”. Конечно же, моя обидчица никакой шлюхой не была, а если и была чуть-чуть, то уж никак не великосветской. Но мне очень хотелось ее обругать как следует. “Великосветская шлюха? – засмеялся Федоров. – Это вы про...” И он произнес имя-фамилию одной нашей преподавательницы, молодой и очень красивой. “Нет, нет!” – сказал я. Федоров понял, что сказал лишнее. Но и я понял, что узнал лишнее...

\* \* \*

Мы учились латыни по новому учебнику, который Федоров написал вместе с Валентиной Иосифовной Мирошенковой – не слишком толстая книга в мягкой обложке. Учебники древних языков тогда были большой проблемой. Старую, почтенную и в общем-то очень хорошую греческую грамматику и латинскую хрестоматию Соболевского (тоже легенда, но которую мы не застали, умер в 1963 году) можно использовать в крайнем случае с середины второго курса, а лучше с третьего. Простой и четкий учебник появился всего за год до нашего поступления.

Разумеется, я никому слова не сказал, что еще годом раньше с Валентиной Николаевной Чемберджи я уже прошел начальный курс латинской грамматики и даже читал Юлия Цезаря. Хотя я почти уверен, что на кафедре это знали, не могли не знать. Уж больно узок круг. Потом я узнал, что с 1936-го до 1986 года наша кафедра выпустила всего 400 человек. Однако, когда я отвечал хорошо, когда лихо переводил Цезаря, Федоров ни разу мне не намекнул: “Конечно, вам это легко, вы это уже с Валечкой проходили”. А когда я, наоборот, делал ошибку или терялся перед какой-то запутанной фразой, он не говорил мне что-то вроде “Эх вы, латинист доморощенный, самодеятельный”. Был такой, что ли, взаимный заговор молчания. Недаром Клара Петровна Полонская во время моего первого визита на кафедру в 1966 году предупредила меня: “Только не дай бог вам сказать, что вы изучали латынь, у нас этого не любят”.

\* \* \*

Здесь хочу сделать маленькое отступление. Про “гимназистов” и “аутентистов”.

В латыни и древнегреческом есть проблема произношения: как сегодня надо произносить слова, написанные две или даже почти три тысячи лет назад?

При изучении древнегреческого языка большинство студентов, да и ученых тоже, использует так называемую Эразмову систему (названа в честь Эразма Роттердамского, который ее и предложил). Тут надо произносить каждый звук в соответствии с буквой: “э краткое” и “э долгое”, “и”, “ю”, а также дифтонги “эй”, “ой”, “юй” и “ай”. Бету называть “бетой” и читать как “б”.

Другой вариант – Рейхлинова система (в честь Иоганна Рейхлина, друга Эразма) – произносить, как современные греки. Но тут получается, что “э долгое”, “и”, “ю”, “эй”, “ой” и “юй” надо читать как “и”. А “ай” – как “э”. Бету называть “витой” и читать как “в”. На самом деле, конечно, такое произношение ближе к реальности – особенно что касается эпохи более поздней, чем классическая, чем V–IV век до нашей эры; тем более это касается греческого языка Византии. Анализ описок в византийских рукописях показывает это со всей очевидностью.

Но вот вам такой пример, простите, что русскими буквами: “трэхей” (он бежит), “трэхэ” (чтобы он бежал), “трэхой” (если бы он бежал). Однако по-рейхлиновски, то есть по-новогречески, во всех трех случаях читается как “трэхи”. И это не только про данное слово, а про спряжение любого глагола. Ясно, что такое произношение мешает выучить древнегреческий язык во всей его грамматической сложности: времена, залоги, наклонения. А если взглянуть на вещи поверхностно, то можно предположить, что фонетика в какой-то мере повлияла на грамматику: фонетическое упрощение привело к устранению омофонных грамматических форм. Это, повторяю, поверхностный взгляд – но иногда он бывает полезен.

Есть проблемы и с произношением в латыни. До третьего курса на нашей кафедре господствовало произношение, унаследованное от старых российских гимназий, а к нам пришедшее из немецких школ. Латинское “с” перед “а”, “о” и “и” читается как русское “к”, а перед “е” “i” – как “ц”. Диграф “ae” читается как “э”. Таким образом *canis* – канис, *contra* – контра, *culpa* – кульпа, но при этом *cervus* – цевус, *cinis* – цинис. Ну и разумеется, *Cicero* – Цицero, а *Caesar* – Цезарь. Однако аутентичное произношение – это когда “с” всегда читается как “к”, а диграф “ae” – как дифтонг “ай”. Поэтому Цицерон становится Кикероном, а Цезарь – Кайсаром.

Когда мы были на третьем курсе, Николай Алексеевич Федоров поехал на международную конференцию латинистов в Варшаву. И с тех пор стал учить новых студентов произносить “с” как “к” во всех позициях, как это и делается уже во всем мире. Но мы, которых учили по-гимназически “цекать”, отказались аутентично “какать”. Я понимаю свою устарелость – но читать латинские стихи на “к” мне просто невмоготу. “*Eheu fugaces*” декламировать как “эхэу фугакес”? Брр! Никогда! Впрочем, меня никто и не заставляет.

\* \* \*

Вторым главным человеком была Валентина Иосифовна Мирошенкова, которая вела у нас начальный курс греческого языка. “Латынь надо учить быстро! – говорила она. – Чтобы осталось больше времени на греческий”.

Полная противоположность Николаю Алексеевичу. Небольшого роста, курносая, очень обаятельная, но совсем некрасивая. Она рассказывала нам, первокурсникам, как какой-то студент-иностранец сказал ей: “Ах, как вы похорошили”. “А я ему отвечаю – ну что же, есть куда! Есть куда!”

Стандартного учебника у нас не было. Во всяком случае, я такого не помню. Я пользовался дореволюционной грамматикой Нидерле. Толстенная книга Соболевского хотя и называется учебником – все-таки грамматический справочник, и несколько страничек упражнений в конце совершенно не меняют дела. Валентина Иосифовна достала какой-то немецкий учебник, кажется, Вольфа. Там были смешные фразы: “Геракл был добрым помощником для земледельцев” или “Одиссей долго плыл на корабле по морю”. Но хоть так. Впрочем, мы довольно скоро начали читать Ксенофонта.

В этом смысле древние языки изучать интереснее, чем современные, потому что в современных языках можно по три года сидеть на упражнениях или искусственных статьях, так называемых *topics* – работа, улица, магазин.

Если Николай Алексеевич был резким и строгим, то Валентина Иосифовна – смешливой и добродушной. Но на самом деле она была еще строже, чем Федоров, потому что строгость Федорова по большей части выражалась в хлопанье ладонью по столу, в нервном хождении по аудитории, в обидных фразах и грозных взглядах. Но строгость Валентины Иосифовны заключалась в оценках. “Двойка”, – ласково говорила она, и глаза ее лучились добрым смехом. Она чуть-чуть пришепывала, у нее часто получалось “тфойка”. “Тфойка, – говорила она, смотрела на меня и улыбалась. – Странное дело. Вроде бы мальчик из интеллигентной семьи, а такая тупость. Такая, извините за выражение, бездарность”. Или ставила тройку. Я начинал

ныть: “Валентина Иосифовна, ну почему опять трояк...” – она отвечала: “Никакой не трояк, а «удовлетворительно». Что это значит? Значит, преподаватель удовлетворен. Тем более удовлетворен должен быть студент!” Но несмотря на это, и она считала меня “блестящим студентом”, вот ведь удивительно.

Про нее тоже была легенда.

Самый конец сороковых. По всей стране идет *борьба с космополитизмом*, то есть антисемитская кампания. Она тогда была студенткой. Однажды она зашла по какому-то делу в партком факультета. Парторг пригласил ее сесть и задушевно сказал: “Имя у вас красивое – Валентина. И фамилия Мирошенкова тоже хорошая, нормальная, русско-украинская. А вот отчество странное. Откуда у простой русской девушки какое-то не наше отчество – Иосифовна?” – “Вам не нравится имя Иосиф? – холодно спросила она и подняла глаза на портрет Сталина, висевший на стене. – С этого места подробнее, пожалуйста!” Парторг вскочил из-за стола и выбежал из кабинета, и потом в коридоре всегда старался ее обойти.

\* \* \*

Еще у нас был русский язык. Преподавательница Наталья Константиновна Пирогова. Сначала лексика, потом фонетика, потом всё остальное.

Лекции по русской фонетике читал Михаил Викторович Панов. Как я позже узнал, человек тоже великий и легендарный, но тогда, увы, это прошло мимо меня.

Немецкий язык преподавала Нина Ивановна Власова, просто милая тетенька. Она нам рассказывала, что дружила с Александром Величанским, и даже читала нам его стихи. Был такой молодой поэт – не то чтобы авангардист, но весьма оригинальный. Ну как молодой – старше нас лет на десять. Я слышал о нем от своей дачной подруги Лены Матусовской и очень удивлялся, что может быть общего у молодого поэта и нашей Нины Ивановны, такой картинной советской преподавательницы лет сорока, мещанки в самом хорошем смысле слова (когда мы однажды пришли к ней домой сдавать зачет, она застелила газетами пол в коридоре и в комнате). “Какая разница между жизнью и Рокфеллером? – поучал меня мой старший друг Гриша Меликишвили, он же лорд Грегори. – Жизнь богаче!”

В нашу немецкую группу к Нине Ивановне Власовой пришла студентка со второго курса нашего отделения Марьяна Шаньгина. Она по какой-то причине – то ли была в академке, то ли еще что-то – не сдала немецкий, и поэтому пришла к нам повторять курс. Про Марьяну расскажу потом, если наберусь храбрости.

Еще у нас были общие лекции по истории КПСС.

Зачем сейчас объяснять, что это такое? Можно сказать, что это была своего рода новейшая политическая история страны. А можно сказать, что это была бессовестная промывка мозгов молодого поколения. И то, и другое будет и правдой, и неправдой одновременно. Потому что эта политическая история, несмотря на обилие имен и дат, была, мягко выражаясь, какая-то кривобокая. А промыть мозги молодому поколению в лице студентов филфака было не так уж просто. У девяноста процентов студентов мозги уже были настроены на диссидентскую волну. А если совсем честно, то на волну цинического двоемыслия: почитаем самиздатского Солженицына и пойдем на комсомольское собрание. Помню, на истории партии мы играли в преферанс, и наша преподавательница Ольга Ивановна Митяева это заметила и очень смело пошутила: “О чем задумались, молодые люди? Второй король не ловится?”

Как-то раз мы сидели в ряд – я, то есть Драгунский, Миша Бибииков, Саша Алексеев с немецкого отделения, наш Саша Луцков и еще один немец, Юра Гинзбург – сын известного переводчика и публициста Льва Гинзбурга. Мы скуки ради стали писать абсурдистскую пьесу. Писали мы ее по методу игры в чепуху. Один человек писал реплику и отдавал бумажку второму, и так далее. К концу лекции получилось несколько страничек очень смешной и очень

похабной белиберды. Пьеса почему-то называлась “Сова”, подзаголовок – антидрама. Сова там была одним из главных героев. А герои были такие: сова, низкорослый дебил, голая женщина с восемью ногами, оживший бюстгальтер на меху и голос Маяковского за сценой. Потом мы сочинили автора. Имя его сложилось из первых слогов наших фамилий. Автора звали Драбибал Луцгин. Мы придумали, что это современный монгольский авангардист-диссидент. Украсив эту пьесу разными подробностями – предисловием автора, историей постановок, – мы стали читать ее знакомым ребятам. Даже записали на магнитофон.

\* \* \*

Вот еще две легенды, вернее сказать, полторы.

Первая безусловная легенда – это профессор Сергей Иванович Радциг, автор книги “Введение в классическую филологию”, а также автор, соавтор и редактор бесчисленных учебников и изданий античной литературы. У него учился Аверинцев; в интервью он говорил, что взял у Радцига все знания, которыми тот делился.

“Бери, что дают” – весьма полезный принцип для студента-филолога. Не надо корить старого профессора за отсталость. Надо брать у него то, что есть, что он может дать.

И вот нам несколько торжественно объявили, что введение в специальность будет читать сам Сергей Иванович. Это было не в аудитории, а в комнате, которую занимала наша кафедра, если я, конечно, правильно помню. Комната была маленькая, но длинная. Стол с телефоном стоял у окна. За этим столом сидела лаборантка Большакова, которую мы звали Большевикова. А ближе к двери стояли три стола и стулья. Сбоку висела маленькая доска. То есть это была и кафедральная комната, и аудитория одновременно.

Мы расселись, и вошла пожилая дама в огромной шляпе, на которой были разные цветы и фрукты. Это была супруга Сергея Ивановича. Под руку она ввела легендарного профессора. Он был маленького роста, весь розово-желтый и седой, как будто бы сделанный из туалетного мыла и тополиного пуха. Он сел на стул перед нами, взял в руки мел и, не вставая, поскольку доска висела совсем рядом, написал по-древнегречески “В начале было слово”. То есть первый стих из Евангелия от Иоанна. А дальше он ... И вот тут я умолкаю... Хочется сказать – понес сущую несусветицу, но эту будет неуважительно по отношению к ветерану и корифею. Сказать же, что он рассказал нам нечто глубокое, философское и филологическое, будет неуважением к философии и филологии. Вкратце он объяснил нам, что недаром в Евангелии сказано, что в начале было слово, потому что слово действительно было в начале всего. Забавно, однако, что под словом – по-гречески “логос” – он имел в виду не религиозно-мистическое значение этого слова, нечто сходное с изначальной мыслью евангелиста, то есть с первичным духом или с Софией, премудростью Божьей, равно как и с логосом в светско-философском смысле. Он говорил просто о слове и о том, что мы будем заниматься филологией, то есть наукой о словах. Ей богу, ради этого не стоило устраивать специальную лекцию и вытаскивать старика из дома.

Но и тогда, и тем более сейчас я слишком критичен к нему, несправедливо критичен. Теперь мне хочется сказать самому себе: ты, брат, сначала доживи до этих лет, а потом уже посмотрим, какую окоlesiцу будешь нести ты. Впрочем, и тогда и у меня, и у Миши, и у Лены была некоторая тень сомнения в справедливости наших насмешек. “Старенький, старенький”, – вздыхали мы. И в самом деле, ему было тогда восемьдесят четыре года. Мы вспомнили, как нам рассказывали старшие, что на поточных лекциях Сергей Иванович, бывало, забывшись, начинал читать “Илиаду” и читал ее наизусть чуть ли не сорок минут. Это было красиво. Студенты тихо листали конспекты, а в первом ряду сидела его жена в своей знаменитой шляпе с цветами и фруктами.

Наша встреча с Сергеем Ивановичем была последним занятием, которое он провел. Он скончался 4 октября, когда мы были на морковке.

\* \* \*

Еще одним легендарным человеком, пусть не столь знаменитым как Радциг, был профессор Александр Николаевич Попов, соавтор давно устаревшего учебника латыни Попова и Шендяпина. Про Павла Матвеевича Шендяпина нам отдельно рассказывала Валентина Иосифовна Мирошенкова. Якобы у него в пенсионном возрасте вдруг начался роман со студенткой. Студентка была странноватая. Какая-то мрачная и порывистая одновременно, ну и, конечно, старше остальных лет на пять, наверное. “Ого! – подумали, а может быть, и пробормотали мы. – Какая разница, в двадцать один или в двадцать шесть заводить шашни с шестидесятипятилетним стариком?” Но Валентина Иосифовна сказала, что эта студентка все-таки вышла за Павла Матвеевича замуж и все последние свои годы он провел в полном счастье, но с работы уволился.

Разумеется, его старинный соавтор Александр Николаевич Попов был совершенно в этом не виноват, но всякий раз, когда он, шаркающий, седенький, сутулый, показывался в конце коридора, мы с Мишей Бибиковым шепотом обращались к нему через весь коридор: “Попов! Где твой Шендяпин?” Он нас не слышал, потому что мы, повторяю, кричали шепотом, да и глуховат он был.

Любимый кафедральный анекдот. Сидят на кафедре два подслеповатых старика, Попов и Радциг. Входит наш молодой красивый доцент Исая Михайлович Нахов. Тут Радциг спрашивает: “Кто это пришел?” Попов отвечает: “Это пришел Нахов! Нахов пришел!” А Радциг изумляется: “Александр Николаевич, куда-куда?”

\* \* \*

Впрочем, сам Исая Михайлович тоже был легендарный человек. В солидном сборнике памяти С. И. Соболевского “Вопросы античной литературы и классической филологии” (1966) была статья Исая Михайловича о философах-киниках – они же циники, если принять латинизированное гимназическое произношение. Антисфен, Диоген и т. д. Статья начиналась словами “Тернист и извилист путь человечества к познанию, культуре и коммунизму”. Впрочем, возможно, здесь был некоторый кинизм, то есть цинизм, самого автора. Рассказывают, как в том же самом 1966 году секретарь парткома зазвал Нахова в пустую аудиторию, вытащил из портфеля папку, а из папки бумажку и сказал: “Прочитай, Исая Михалыч”. Это было письмо, осуждающее Синявского и Даниэля, уже с целым столбиком подписей профессоров, доцентов и старших преподавателей. “Вот! – чуть-чуть двусмысленно сказал секретарь парткома. – Каковы гады, а?” – “Гады! – столь же безадресно воскликнул Нахов. – Двuruшники! Негодяи! Патентованные подлецы!” – “Не части, – сказал секретарь парткома. – Подпиши и забудь”. Нахов полез в боковой карман. “Черт! – сказал он. – Авторучку на кафедре оставил, я сейчас, буквально три секунды”. Вышел из аудитории, быстро дошел до кафедры, забрал портфель, сбежал вниз по лестнице, дошел до метро и двинул на дачу... Благо была пятница. А следующее занятие у него было во вторник.

Оглядываясь на те времена из нашего цифрового сегодня, начинаешь понимать, что в отсутствии мобильных и мессенджеров были свои плюсы.

Рассказывали также, что Нахов был большим донжуаном. Кто-то видел, как он шел по бульвару сильно навеселе следом за девушкой и бормотал: “Пуговки, пуговки!” Почему пуговки? При чем тут пуговки? Но эти слова стали его тайным прозвищем. “Пуговки” – у нас с Мишей Бибиковым означало – Нахов. “Кто зачет принимает? Пуговки!”

\* \* \*

Наш первоучитель латыни Николай Алексеевич Федоров с тайным сарказмом относился к Радцигу и Попову. Он рассказал нам, что один из этих легендарных стариков получил свое профессорское звание в общем-то случайно. Потому что чуть ли не в 1918 году, сразу после революции, был вызван в какой-то губнаробраз с целью присвоения ученого звания. И вот якобы только по этой повестке уже в тридцать каком-то году он получил профессорство, поскольку, как он утверждал, все документы пропали, как тогда говорилось, “в пламени Гражданской войны” и лишь эта бумажка неоспоримо свидетельствует о его правах на звание профессора, ехидно сказал Федоров. Но так и не выдал, кто из них – по его мнению – был самозванцем.

Когда мы в начале октября вернулись с морковки, Сергей Иванович Радциг уже умер и был похоронен. А весной его довольно богатая домашняя библиотека, полная изданий античных авторов, исследований, учебников и журнальных оттисков, поступила в продажу в букинистический магазин. Я там тоже кое-что купил.

А сейчас – морковка!

## 2. Морковка

Недели через две нас снова собрали в Комаудитории и объявили, что весь наш курс вместе с факультетом журналистики поедет на... “На картошку!” – выкрикнул кто-то из зала. “Нет, – сказал комсомольский секретарь, – на морковку”.

Автобусы отходили от главного здания МГУ на Ленинских горах. Меня провожала мама. Она смотрела на наших ребят, которые бродили по площадке, и вдруг прямо ахнула. “Боже! – сказала она. – Смотри, какой парень, вылитый Кирилл Молчанов, знаешь, есть такой композитор?” – “Знаю, – сказал я. – «Огней так много золотых». Это его сын Володя”. – “С ума сойти! – сказала мама. – Ну просто один в один”. Рассказала мне, что композитор пользовался большим успехом у женщин. “Наверное, его сын тоже жуткий бабник”, – сказала мама. Я этого не знал – откуда мне было узнать за две первые две недели? Тем более что мы были на разных отделениях – он на романо-германском, я на классике. Но именно на этой морковке Володя познакомился со своей женой. Она была кубинка, ее звали Консуэло, фамилия Сегура, прозвище Чата, то есть курносая. Она действительно была курносая. Они как подружились в 1968 году, так и прожили до самой Чатиной смерти, которая, увы, случилась в 2023 году. Володя был любящим и верным мужем. Такое тоже бывает – правда, не слишком часто.

\* \* \*

Наш морковный десант направлялся в деревню Ланьшино Серпуховского района Московской области на Оке, на самом стыке областей Московской, Тульской и Рязанской. Хотя для нас это не имело никакого значения. “Тоже мне, Бельгия, Голландия и Франция!” – шутили мы, сидя в автобусе. Но все равно было интересно.

Командиром нашего отряда был молодой тогда доцент Юрий Николаевич Караулов – впоследствии директор Института русского языка, специалист в области лингвистического конструирования и автор очень интересного “Русского семантического словаря”. Небольшого роста, румяный, круглолицый, куривший трубку. Комиссара отряда у нас, кажется, не было, или я не запомнил. Комиссар у нас был через два года в стройотряде, но это отдельная история.

Приехали, разместились в корпусах пионерлагеря. Тогда деревня Ланьшино была людной и очень оживленной. Люди работали в поле, выращивали эту самую морковку, а также кормовой корнеплод со странным названием “кузик”. Какая-то разновидность турнепса. Мы его тоже собирали. Страна уже давно была в космосе, но морковоборочного комбайна, кажется, так и не изобрели. Картофелеуборочный был, а насчет морковки ни-ни. Трактор, проходя по длинным рядам морковного поля, плугом взрывал землю, а мы шли следом, выдергивали морковь, отбивали ее от липкой глинистой земли и кидали то в корзины, а то сразу в мешки.

Ланьшино была деревней вполне благоустроенной, там даже гнали самогон. Мы, бывало, покупали самогонку у деревенских теток, а бывало и совсем смешно: мы приносили им в корзинках отборную, калиброванную, прямо-таки выставочную морковку, которую они потом везли в Москву на рынок, и за это нам полагалось вознаграждение в объеме стакана.

А сейчас я заглянул в интернет и выяснил, что в деревне Ланьшино населения осталось шесть человек, а на фотографии какие-то ужасные халупы-развалюхи, не сравнишь с крепкими домами конца 1960-х. Урбанизация!

Кормили нас утром и вечером в столовой, тоже пионерлагерной. Давали много тертой редьки – говорили, что это хорошо от простуды. В самом деле, вроде бы никто из наших не болел. Днем привозили что-то вроде полдника прямо на поле. Командовали этим делом самые ловкие ребята и девчонки, которые, как в ГУЛАГе, сумели устроиться на кухне, на хлебобрезке.

Хотя, думается мне, они в конечном счете проиграли. Все-таки наша морковная страда – не сравнить с лагерными общими работами. Работали мы, особо не перемогаясь. Морковку часто не вытаскивали, а ногами выпинавали из земли. Наверное, много оставляли. Во всяком случае, председатель колхоза, а может быть, директор совхоза, не помню, по фамилии Куницкий был очень нами недоволен. Даже на собрании сказал, что толку от нас как от козла молока, сплошные заботы. Мы все засмеялись, а мой однокурсник Володя Молчанов, впоследствии знаменитый телеведущий, состроил партийную рожу и сказал: “Зато это имеет большое политическое и воспитательное значение”. И мы все заржали еще громче. Куницкий махнул рукой и ушел.

Пьянка была жуткая. Мы были молодые-крепкие, могли выпить много, но рассчитывать свои силы не умели – поэтому напивались порой до безобразия. Один парень однажды поздно вечером облевал весь тамбур, и потом не давал нам всем уснуть, прося прощения, всю ночь ныл: “Извините, ребята, извините, ребята”. А другой – очень интеллигентный юноша, почти непьющий, что было редкостью (впоследствии завкафедрой французского языка в одном хорошем вузе), – проснулся и, не разобравшись, в ответ на очередное “извините” сказал: “Ну что ты, дорогой, нам даже приятно”. Мы часто вспоминали этот случай.

Однажды мы послали товарища за водкой на другую сторону Оки. Это было серьезное мероприятие. Сложились, вручили ему крупную сумму. Но то ли лодочник был пьян, то ли вражеская торпеда попала – в двух метрах от берега лодка перевернулась, и наш посланец вместе с кошелкой и драгоценным грузом вывалился за борт. Мы, которые его встречали на лодочной пристани, ахнули, испугались. Уже было наплевать на водку – наш дружок, показавшись над холодной сентябрьской водой, вдруг снова ушел под воду. Утонул? Нырнул? Мы заорали еще громче, но секунд через десять его голова снова показалась на поверхности, и он в воде побрел к берегу и наконец вышел в промокшем ватнике, держа в руках кошелку с водкой. Мы были так потрясены его героизмом, что весь путь от пристани до лагеря, а это было, наверное, с километр, несли его на руках в буквальном смысле слова. А там отправили на кухню, велели сушиться и греться и очень заужавали. Он был маленький, худенький, из Татарстана. Говорили, что его приняли, потому что он понравился лично Ольге Сергеевне Ахмановой, тоже легендарной даме, заведующей кафедрой английского языка.

Чем он мог понравиться этой валькирии, не знаю. Тихий провинциальный мальчик. Может быть, у него было “хорошее произношение”?

\* \* \*

Ах это произношение!

Ни при обучении французскому, ни при обучении немецкому, не говоря уж об испанском и итальянском, вопрос о произношении не стоял так резко и обидно, как в английском языке. Уже потом я не раз был свидетелем, как детей не принимали в английские школы, потому что они то ли картавили, то ли шепелявили, то ли слегка заикались. Господи Иисусе, неужели среди англичан нет ни одного картавого, заикающегося или шепелявого человека? Откуда эта странная привязанность именно к произношению? “Ах, у нее такое произношение!” – часто выхваляли какую-нибудь даму, которая не могла сказать по-английски самую простую фразу, хоть чуточку выходящую за пределы элементарного курса. Зато произношение! Как будто они готовили шпионов, честное слово. Тоже на самом деле глупо, потому что это ваше хваленое произношение что в английском языке, что в русском очень сильно различается от региона к региону, от социального класса к социальному классу, даже от возраста к возрасту.

Но что это я прицепился к этому проклятому произношению? А вот что. У нас на английской кафедре был преподаватель по фамилии Егоров. То ли Григорий Георгиевич, то ли Георгий Григорьевич, неважно. Все его звали Джи Джи Егоров. Да, у него было отличное произношение, наверное, какая-то британская университетская разновидность. Чистый оксфордский

прононс. Он был высокий, полноватый, черноволосый. Скорее даже красивый – но безумно жестокий, настоящий садист. Он преподавал фонетику английского языка. Очевидно, кто-то не понимал, что фонетика как филологическая дисциплина и умение красиво и артистично произносить звуки – это две большие разницы. Или даже четыре. Так вот, этот Жи Жи буквально на третьем занятии, как жаловалась мне моя подруга, разделил группу на две части. Пятерых посадил на передние скамейки, остальных на задние и сказал, обращаясь к заднескамеечникам: “А с вами я вообще заниматься не буду, потому что у вас от природы никудышное произношение”. Дело кончилось тем, что мою подругу чуть не отчислили именно из-за злобного Жи Жи: неуд по английскому, по главной профильной дисциплине. Слава богу, она как-то сумела оформить себе академический отпуск и на следующий год прекрасно сдала эту чертову фонетику другому преподавателю.

Но, возвращаясь к нашему героическому спасителю кошелки с водкой. Ольге Сергеевне Ахмановой понравился он все-таки не зря. Он довольно скоро защитил две диссертации и стал профессором.

\* \* \*

Кроме собственно морковки, которая отнимала у нас не так уж много времени и сил, и кроме непереносимой почти ежевечерней пьянки были танцы и были девочки. Нас было примерно двести человек, из них семнадцать – мальчики. Этот гендерный дисбаланс делал ухаживания чуточку легче. Все ходили на танцы, гуляли по заросшим аллеям пионерлагеря, ну и, разумеется, целовались в беседках.

Я тоже целовался. С двумя, а может быть, даже с тремя разными девочками. С постоянной девочкой постоянно, а с двумя так, попеременно, когда у моей постоянной не было настроения или она шла танцевать, а я быстрых танцев не любил.

Там была одна очень умная девочка. То ли с французского отделения, то ли со структурной лингвистики. С ней в самом деле было интересно поговорить о разных литературных или семантических материях. Однажды мы долго так разговаривали в беседке, и я оказывался к ней всё ближе, ближе, ну как-то так само получалось. Она смотрела на меня всё пристальней, всё пристальней, продолжая говорить что-то умное, умное, умное. И я – то ли мне действительно захотелось ее обнять, то ли это было шаблонно-ритуальное действие, – но я залез к ней под куртку. Обнял ее сзади, выдернул кофточку из штанов, просунул руку и прислонил свою ладонь к горячей голой спине. “Какие вы, мужчины, все-таки животные, – сказала она мне тихо, но отчетливо. – Я знаю, что тебе нужно”. – “Что?” – растерянно спросил я. “Тебе нужно только мое тело!” – сказала она, придвигаясь ко мне еще ближе. “Что ты! – растерялся я и выдернул руку у нее из-под кофты. – Что ты, прости меня, мне с тобой так интересно разговаривать, ты такая начитанная, такая умная”. – “А ты дурак!” – закричала она, больно стукнула меня кулаком в грудь и убежала.

Это был не единственный такой случай в моей жизни. Много раз так было, и все эти разы я отчетливо помню. Помню, как девушка говорила: “Не надо, прошу тебя, не надо”, “Лучше давай в другой раз”. Или, например: “Сегодня мне нельзя, опасный день”. Или даже, вы не поверите: “Умоляю, пожалей меня!” – совсем как Грушенька Светлова Мите Карамазову во время кутежа в Мокром. Я всякий раз ласково и понимающе отвечал: “Прости, да, конечно, извини, хорошо, в другой раз, ну что ты, что ты, милая, только не бойся”.

Но иногда в ответ – прямо тут же, через полминуты, или на другой день при встрече в факультетском коридоре – получал злую насмешку и обидные слова: “Ты не мужчина. Настоящие мужчины так себя не ведут. Ты просто размазня”. Но я не стал себя ломать и переучиваться. И в конечном счете – особенно в свете новейших тенденций в области сексуальной морали – наверное, оказался прав.

\* \* \*

К нам приехала комиссия из Москвы. Там была комсомольская секретарка уже не факультетского, а университетского уровня. Довольно красивая и современная тетка лет тридцати. Брючки, заграничная куртка. Не товарищ Парамонова, ничего похожего. “Как работаете?” – спросила она, стоя на крыльце в гуще комсомольской массы. Я стоял рядом и ответил: “Ужасно!” – “Почему? – она подняла брови. – В чем дело? Проблемы?” – “Толку от нас никакого. Председатель колхоза сказал как от козла молока”. Она подошла ко мне еще ближе и негромко сказала, почти прошептала ту самую фразу, которую говорил Володя Молчанов: “Ну что ты как дурак? – она подмигнула. – Это же имеет большое политическое и воспитательное значение! А главное, вы все подружитесь, и три недели на свежем воздухе. Особо не перемогаясь. Что же тут ужасного?” – “Правда!” – сказал я. Хотел даже похлопать ее по плечу, но не решился.

Потом был поэтический вечер, который устроили студенты факультета журналистики. Мы с ними, странное дело, практически не общались, хотя они жили в соседнем корпусе, таком же деревянном. Мы даже танцевали врозь, хотя танцы были общие. Какое-то было странное несовпадение. Трудно было понять, в чем оно выражалось. Наверное, они нас считали заумными и желторотыми, потому что они были уже на втором курсе, а то и на третьем. А мы их считали слишком фасонистыми и наглыми. Наверное, так оно и было.

Однажды в нашем пионерском клубе, где были танцы, я сидел на подоконнике и курил. Вдруг ко мне подошел один парень из ихних, то есть из журналистов, и стал щелкать пальцами. Я сначала не понял, что ему надо, а он всё продолжал щелкать. Я поднял на него глаза. Он еще раз щелкнул пальцем и сказал: “Ну!” Причем это “ну” он сказал с каким-то странным произношением: “Ннэ!”. Я чуть вопросительно поднял брови, и тогда он наконец сказал: “Спички!” Опять же произнеся как “ссспэчк”. Я отвернулся и продолжал курить, глядя в угол. Он еще раз щелкнул пальцами, недолго постоял, потом молча отошел в сторону.

Итак, был вечер чтения стихов. Стихи были обыкновенные, не хорошие и не плохие, как обычно и пишут самодеятельные поэты: рифма есть, размер соблюден, смысл кое-какой вырисовывается, что вам еще надо? Но не всё так просто. Там была одна девушка. Рослая, черноволосая, с двумя большими косами. Даже, наверное, красивая немного южной, большеглазой и чернобровый красотой, но все-таки это была не Грузия или Азербайджан, а скорее Краснодар. И еще – она была празднично одета, в отличие от всех остальных ребят и девушек. На всякие вечера и собрания, равно как на танцы, мы приходили в тех же телогрейках и грубых штанах, в которых выходили в поле: чего там фасонить, все свои. А она была в красном платье. Она читала стихи, и тут не у одного меня, наверное, загорелись уши. Потому что это было публичное объяснение в любви, адресованное командиру их отряда, вполне себе сорокапятилетнему дяденьке, наверное, преподавателю. Она жестикулировала, она напирала, она смотрела на него, а он, бедняга, вместо того чтобы убежать или сказать ей “прекрати немедленно”, делал вид, что это к нему не относится. Там были и ночи безумные, и соблазнение невинности, и безоглядная вера в его благородство, и его предательство, но при этом твердое убеждение, что он никуда не денется и что они будут вместе. Я даже запомнил, как этот цикл заканчивался. Последние слова: “Нет бога кроме бога, и нет любви, кроме тебя, любимый!” Она едва не ткнула пальцем ему в лицо.

Надо было спасать ситуацию, и я закричал: “Браво! Бис! Отличные стихи! Еще, еще!” – и все захохотали, захопали, затопали ногами. Мне кажется, этот объект любви должен был быть нам благодарен – потому что мы, совсем по Марксу, сумели превратить трагедию в фарс.

\* \* \*

И еще один мощный фарс.

Мы очень много пили, ну и, конечно, бывало, что после вчерашнего кое-кто опаздывал выйти в поле. Тем более что выйти в поле было не так уж просто, нас возили туда на грузовиках. И если ты опоздал к грузовику, надо было идти пешком пять километров или дожидаться, когда Нинка Константинова повезет на таком же грузовике горячее молоко и хлеб – в час дня примерно. Вот что-то подобное и случилось с нашим однокурсником Валерой Абрамовым. Человек он, на мой личный взгляд, был не очень приятный. Типичный стилига, если использовать терминологию пятилетней от этого момента давности, но она тогда еще была свежа. Он, например, любил ни с того ни с сего подойти и сказать, вертя ногой в импортной бутсе: “Клевые шузы, а? Типикал стейтс”. Это не нравилось ни мне, ни моим друзьям.

Так вот, Валера однажды опоздал в поле. Его на этом заловил наш командир Караулов. Может быть, Караулов сам не любил Валеру. Не исключено, что по той же самой причине. Мы тут все кругом скромные советские студенты, а тут на тебе – “типикал стейтс”. *Джон в Америке родился, и в Америке он рос*, тьфу. Караулов созвал собрание, небольшое, из тех, кто рядом подвернулся. Сказал, что Абрамова нужно исключить из студенческого отряда, а для этого исключить из комсомола, а это якобы означает исключение из университета. Мы, повторяю, не особенно любили Валеру Абрамова, но нам всё это не понравилось, и мы решили Валеру не отдавать. Караулов заартачился и сказал, что в нашем сельхозотряде принцип единоначалия. Но мы были ребята неглупые и языкастые. “Единоначалие? – сказал кто-то. – Тогда можете отправлять его домой. Он только рад будет. Но при чем тут комсомол?” Тем более что один из наших парней был членом общефакультетского комитета комсомола. Его выбрали просто по разнарядке от курса, но теперь он чувствовал себя вправе выступать авторитетно. Я не помню, чем закончилась эта перепалка, но Караулов ушел, хлопнув дверью, а мы решили прямо сейчас, а был уже довольно поздний час, собрать комсомольское собрание. И черт меня дернул пойти в радиорубку. Там сидел какой-то добрый старик, который ставил музыку. Я попросил микрофон. Он включил полную громкость, и я сказал: “Внимание, внимание! В клубе в 21 час 30 минут состоится внеочередное экстренное общее комсомольское собрание, на котором мы будем защищать нашего друга-комсомольца”.

Странное дело, но народ потянулся. Пришли почти все. Володя Молчанов выступил. Сказал, что Валера Абрамов парень хороший, что он давно работает в прессе, что он готовил важные материалы, помогал старшим товарищам что-то переводить, и напомнил какие-то статьи в популярных газетах. И в конце концов мы приняли резолюцию комсомольского собрания, “слушали-постановили”: рассмотрели дело о нарушении производственной дисциплины, постановили вынести выговор без занесения.

Но Караулов закусил удила.

Я понимаю, что всё это безумно смешно вспоминать из 2025 года, да, строго говоря, и в 1968-м тоже было смешно. Но Караулов сообщил в Москву, что здесь на морковке была создана *подпольная комсомольская организация*. А поскольку обращался через радиорубку к ребятам именно я, то меня он записал в ее лидеры. А я об этом ничего не знал. Точно так же я не знал о том, что к нам выехала ажно целая делегация парткома филологического факультета во главе с профессором Петром Федоровичем Юшиным. Никто нас об этом не предупредил. Наверное, хотели прихлопнуть на горячем.

Но в этот же самый вечер к своим друзьям с факультета журналистики, а заодно и ко мне приехали мои друзья – мой старый дачный друг Андрюша Яковлев и два его приятеля. Естественно, они привезли с собой водки. Пообщавшись со своими друзьями с журфака, они разыскали меня, мы пошли в березовую рощицу и там как следует напились. Водка была хоро-

шая, московская, не то что местная серпуховская, никакого сравнения. Пили, болтали, рассказывали анекдоты. Один из приехавших с Андрюшей ребят похвастался, что у него с собой пистолет. Действительно, пистолет у него был самый настоящий, тяжеленький и, кажется, заряженный. Стрелять я, конечно же, не стал, хотя мне предлагали попробовать. Андрюшин приятель спрятал пистолет в рюкзак, и в этот самый момент в нашу рожицу, где мы так уютно выпивали, прибежала какая-то девушка и закричала: “Драгунский! Драгунский! Тебя вызывают в штаб”. – “В какой еще штаб?” – “Караулов вызывает”. – “Ага, в караулку!” – заржал я, потому что маленький домик, в котором отдельно проживал наш командир, мы так и называли.

Девочка тащила меня за руку и наконец втокнула в комнатку, где сидел наш Караулов и еще двое каких-то незаметных человека, я так потом и не вспомнил, кто они, и слегка кудрявый, широколицый профессор Юшин, секретарь парткома. Я вспомнил, что Юшин – специалист по Есенину, мне кто-то говорил. “В самом деле, – подумал я, – он похож на постаревшего, размордевшего и почему-то черноволосого Есенина”. От этого мне стало еще веселее. Хотя я и так был пьян под завязку, под “линию долива”, имея в виду белую полоску на моем свитере где-то в районе горла. Юшин, судя по всему, был сам не чужд кабацких утех, поэтому сразу понял, что толку от меня в таком состоянии не добьешься. Но все-таки спросил, что, собственно, произошло и что мы тут учинили. Но я первым делом сказал: “Прежде всего я комсомолец!” – “И что?” – спросил Юшин. “Пока я выступаю за нерушимый блок коммунистов и беспартийных”. – “Почему пока?” – он сдвинул брови. “Потому что я пока беспартийный. Комсомол – помощник партии, так? А вот если я захочу вступить в партию, вы, как секретарь парткома, мне дадите рекомендацию?” – “Если водку жрать бросишь, – сказал Юшин, – и полгода продержишься, тогда поговорим. Но все-таки давай подробнее, что у вас тут?” И я, напирая на свою идейность, сказал, что коллективное мнение комсомольцев курса таково: Валера Абрамов да, уввы-уввы, слегка оступись, заработал выговор, но никак не заслуживает столь суровой кары, как исключение из рядов ВЛКСМ. “Чего ж мы тогда сюда приехали?” – спросил Юшин то ли меня, то ли Караулова. “А бывает! – ответил я. – Вот давайте я вам что-то интересное расскажу! Был такой случай...”

И тут же на ходу придумал этот случай. Я, честное слово, всё выдумал, но ссылаясь на одному мне известные источники и контакты с важными людьми. Я рассказал совершенно безумную историю о том, как в комбинате “Известия” погас свет (почему “Известия”? Потому что там работал мой старший брат, это раз; а комбинат “Известия” шефствовал над нашей школой, где я учился, и я бывал в печатных цехах). “Был такой случай! – увлеченно говорил я, икая и сплевывая в газетку. – Однажды в комбинате «Известия» вдруг случилась авария, прекратилась подача электричества на целых три часа. Целых три часа стояли печатные машины. Поэтому газета вышла на три часа позже. Всего на три! – и я погрозил пальцем неизвестно кому. – Но западные радиостанции, – говорил я, нахмурив брови, – подняли по этому поводу страшный вой. Дескать, ах, газета «Известия» не вышла, значит что-то случилось в нашем советском государстве. А в это время электрики спокойно чинили кабель!”

Меня слушали очень внимательно. Я продолжал: “Но вот прошло три часа, и к газетным киоскам весело поехали машины со свежим тиражом! Мораль: поспешишь – людей насмешишь!” – “Это что, на самом деле было?” – спросил меня товарищ Юшин. “Еще бы! – сказал я. – Я знаю много таких историй. Хотите, расскажу?” – “Не надо, – сказал он. – Всё”.

То есть история кончилась ничем. Возможно, Караулову даже слегка влетело – за ложную тревогу. Надо сказать, что с Карауловым мы потом на факультете общались очень хорошо. Ни он, ни я эту историю не вспоминали. А вот товарищ Юшин меня запомнил и сумел мне слегка навредить после защиты диплома. Ну или так – не навредить, а не помочь, не защитить. Впрочем, может быть, он и не мог меня защитить. Но разговаривал со мной весьма враждебно. Наверное, потому и враждебно, что ничем не мог мне помочь.

\* \* \*

Иногда перед танцами мы устраивали концертные вечера. Саша Алексеев и Юра Гинзбург пели под гитару “Отцвели уж давно”, “Кого-то нет, кого-то жаль” и “Тум балалайка”. Володя Орел возмущался, что “Балалайку” мы поем по-немецки, а надо бы на идише. Но увы, эта песня изначально сложена на чистейшем немецком. До сих пор помню наизусть, хотя учил со слуха.

Все веселились, только Алеша Граве сидел на койке и смотрел в одну точку. Я сказал ему: “Пошли на танцы”. – “Зачем?” – “Как зачем? Весело. Там девчонки”. Он посмотрел на меня и проговорил: “Разве в Москве это девчонки? Вот в Смоленске это девчонки”.

\* \* \*

Приехали мы на автобусах туда же, откуда уезжали, к главному входу. Нас ждали родители. Многие были на машинах, в основном на старых “Волгах”, а одну девочку встречали на “Победе”. Мне показалось, что встречающих больше, чем провожающих. Оно и понятно: собирались отъезжать мы постепенно, а встречали нас всех сразу.

Сейчас я пытаюсь вспомнить, как мы там эти три недели мылись. То есть умывались мы под краном, а более серьезно? Ванна, душ и всё такое... Какая ванна, о чем вы говорите? Но хотя бы душевые кабины были или хоть какая-нибудь баня, мыльня? Я не помню. Помоему, нет. Да, совершенно точно. Ничего подобного не было. И даже не было возможности смотаться в Москву на помывку, как мы делали во время следующей трудовой экспедиции в совхоз “Московский”. Это всего минут двадцать на автобусе до метро “Юго-Западная”. Хоть каждый день езжай, если силы есть. А тут 120 километров. Так что насчет помывки было никак. Поэтому понятен некоторый ужас, с которым мама отправляла в стирку мои майки и фуфайки, трусы и рубашки. Но странное дело, это совершенно не мешало нам влюбляться, целоваться, обниматься. А может быть, ничего странного.

### 3. Византия

Первые два года мы учились в старом здании на Моховой. Мимо нашего дома в Каретном Ряду шли троллейбусы № 3 и № 23. Наша остановка – сад Эрмитаж. Следующая – Петровские ворота. Потом – Столешников переулок. Потом – Площадь Свердлова, Большой театр. Вот тут я соскакивал у Большого и шел пешком на Моховую.

Уже в середине первого курса я начал дружить со старшими ребятами. Сначала с теми, кто был на один курс меня старше. Люба, Татьяна, Марьяна Шаньгина. Дальше – Саша Подосинов, стал завкафедрой древних языков на истфаке, Самсон Зетейшвили, стал настоятелем грузинского храма в Москве. Очень веселый и добрый парень. Шутил: “Напишу диплом под названием «Гораций – великий римский поэт»”. Отслужил в армии, поэтому часто ходил в галифе и сапогах. У него была старшая сестра, киновед по имени Латавра. Я потом с ней познакомился совсем в другой компании. Увидел не слишком молодую – как мне тогда показалось – грузинку (а на самом деле ей было лет тридцать), которая вслух читала, размахивая бокалом красного вина, стихотворение Анакреонта про кузнечика, на греческом языке, вот что замечательно. Я, конечно, подошел к ней познакомиться и с удовольствием узнал, что она сестра нашего Сосо.

Курсом старше были Оля Савельева, Мила Баш, Люда Шустер.

А вот на пятом курсе наряду с Наташей, Ритой и Лёвой учился Игорь Чичуров, который меня заметил. Хотя на первом курсе я был вовсе не такой шумный, как на втором и далее. Я прекрасно помню, как именно мы познакомились. Наверное, потому помню, что знакомство с Игорем определило мою краткую научную судьбу.

Сейчас расскажу.

На первом курсе мы должны были писать курсовую работу. Но если на втором, третьем и четвертом курсе эта работа должна была быть связана с научными интересами и служить подготовкой к диплому, то на первом курсе всё было проще. Руководил всеми нашими курсовыми Николай Алексеевич Федоров. Работа была довольно простая и, честно говоря, неинтересная. Надо было взять – вернее, не взять, а получить из рук Федорова – короткий латинский текст и сделать его полнейший грамматический разбор. Что называется, от и до. Про каждое слово. И про синтаксис каждого предложения. Текст, разумеется, был короткий, странички на две-три. Мне досталось жизнеописание Аристиды из известной, популярной в древности книжки Корнелия Непота о жизни знаменитых полководцев. Я купил себе Корнелия Непота за 30 копеек в букинистическом магазине, маленькую задрипанную книжку конца XIX века. Цены тогда были такие. Но у меня что-то щелкнуло в мозгах. Мне странным образом стало дико скучно разбирать текст по этой невзрачной книжице, и я захотел выполнить ту же самую работу, но глядя в какое-то очень старое издание. Вы таки будете смеяться – это издание я нашел. Это был тот же самый Корнелий Непот, но изданный в 1569 году французским филологом по имени Дионисиус Ламбинус. То есть некий Дени Ламбен – потом я узнал, что это был знаменитый ученый тех времен, издатель Горация, Лукреция и Цицерона. Но тогда мне сильнее всего понравилось, что он мой тёзка.

Нашел я эту книгу в Исторической библиотеке в Петроверигском переулке, куда записался 7 мая 1969 года (у меня сохранился читательский билет). Поздновато на самом-то деле! Курсовую надо было сдавать уже в июне.

В отделе редких книг меня усадили за стол с пюпитром, и библиотекарьша раскрыла передо мной огромный том в белом кожаном с тиснением переплете. Интересно, что никто у меня не требовал никакой бумаги, никакого прошения и вообще никаких объяснений, за каким чертом мне понадобилось это старинное издание. Я начал читать и с большим удивлением увидел, что текст набран совсем другими буквами. Нет, не готическими, но с большим

количеством каких-то загогулин и связок. А на полях, на широченных желтоватых полях, были напечатаны примечания этого самого Ламбинуса, включавшие в себя греческие цитаты – очевидно, параллельные места, поскольку, ясное дело, Корнелий Непот, описывая жизнь греческого полководца, опирался на какие-то греческие, даже для него старинные источники. А более поздние греческие историки, вполне возможно, использовали текст Корнелия Непота.

Но с греческими цитатами была новая беда. Греческие буквы были лишь чуточку похожи на те, которым нас учила Валентина Иосифовна Мирошенкова. Там опять-таки были какие-то бесконечные загогулины и, очевидно, сокращения. Самое обидное, что я понял: для читателя XVI века эти загогулины и сокращения были ясны как день, а для меня – темный лес.

\* \* \*

Однажды на кафедре, в этой маленькой тесной комнате, я наткнулся на светловолосого парня и спросил: “Ты на каком курсе?” – “На пятом, а что такое?” – “Ты больше по латыни или по греческому?” – “По греческому, – ответил он и добавил: – Я Игорь Чичуров, я занимаюсь одним византийским оратором. Григорий Антиох. Похвальная речь патриарху Василию Каматиру”. – “А это кто?” – спросил я.

Игорь рассказал, что константинопольский патриарх Василий Каматир – кстати, тот еще фрукт! – в 1183 году благословил женитьбу шестидесятипятилетнего императора-узурпатора Андроника Комнина на тринадцатилетней Анне Французской. Она была вдовой его племянника, законного императора, юного Алексея II Комнина. Его убили по приказу Андроника. Удалили тетивой от лука. Императору было едва четырнадцать лет. Они с Анной повенчались, когда ей было девять лет, а ему – десять.

“Зачем старику такая девчонка? – я даже фыркнул. – Извращенец, да?”

Игорь объяснил, что Андроник хотел породниться с французской короной, потому что Анна была дочерью покойного Людовика VII и сестрой царствующего короля Филиппа II Августа, – а он, кстати говоря, не возражал против брака своей тринадцатилетней сестрицы со стариком. Однако Андроник – хотя был злобен, подл и кровожаден – со столь молодой женой был нежен и добр, окружал ее заботой и роскошью, и она, кажется, была всем довольна.

“Привыкла?” – спросил я.

Но через неполные два года, рассказывал Игорь, Андроника свергли. Пятнадцатилетняя дважды вдова Анна скрывалась в доме крупного сановника, в дальнейшем удачливого мятежника Алексея Враны, и в 1193 году – то есть в двадцать два – стала официальной любовницей его сына Феодора, полководца, который позже сверг императора Исаака Ангела.

“А почему любовницей, а не женой?”

Потому, объяснил Игорь, что во Франции ей полагалось приданое, то есть какое-то имущество, наверное, замки, земли и всё такое – но только как жене или вдове императора, короля, в общем, монарха. Она же была принцессой. А вышла бы замуж за простого аристократа – и всё! Ни кола ни двора.

“Офигеть”, – сказал я.

Вот, продолжал Игорь, она родила дочь от этого Феодора и выдала ее замуж за видного крестоносца Наржо де Туси. Крупного французского феодала. Девушке было пятнадцать лет.

“А жениху?” – тут же поинтересовался я.

Игорь сказал, что не знает точно, но тот явно был не стариком, как Андроник. А уж потом, после взятия Константинополя в 1204 году, Анна смогла наконец обвенчаться с Феодором, потому что граф Балдуин Фландрский, ставший императором Латинской империи, дал ей что-то вроде второго приданого. Она к тому времени уже играла важную роль в политике, в византийско-французских связях.

“Хватит! – взмолился я. Византия затягивала меня, как воронка, как омут, я тонул и задышался. – Ты начал про патриарха. Как его там... я уже забыл. Что с ним стало?”

Ничего хорошего, сказал Игорь. Как только Андроник был свергнут и с отменной жестокостью убит, патриарха Василия Каматира на соборе низложили и вообще отлучили. Формально за то, что он благословил брак Ирины, дочери Андроника, и ее двоюродного брата. Но на самом деле за то, что он был продажным типом и всем уже был поперек горла. Вот так завершил Игорь свой рассказ.

“То есть этот Василий Каматир был полное говно?” – спросил я с прямотушием первокурсника. “К людям XII века не стоит применять такие критерии”, – улыбнулся Игорь. “Но ты же сам сказал, что Андроник был подлый и злобный!” – возразил я. “Так он же убил тринадцатилетнего племянника! А Каматир – просто приспособленец. Как почти все в Византии”. – “Ага! – я не унимался. – Значит, вот этот твой оратор Григорий Антиох, который восхвалял продажного приспособленца Каматира, вообще барахло?” – “Он обыкновенный византийский чиновник. Карьерист, пройдоха, не всегда удачливый. Да, наверное, с нашей точки зрения барахло”. – “Зачем же его изучать?” – “Что ж поделаешь! – рассмеялся Игорь. – Изучать надо всех, а не только благородных героев”. – “Понятно – сказал я. – Тогда скажи, как читается вот это”. Я достал из портфеля тетрадку, куда срисовал эти непонятные загогулины и сокращения греческих слов. “А где ты это раздобыл?” – спросил Игорь.

Я объяснил. Вот так, слово за слово, мы познакомились.

Игорь рассказал, что речь Григория Антиоха, которую он готовит к печати и комментирует, сохранилась только в одной рукописи, которая хранится в Испании в библиотеке Эскориала. О, музыка этих слов! Оратор Григорий Антиох, патриарх Василий Каматир, которому этот Григорий посвятил свое похвальное слово, и библиотека Эскориала.

Это как-то отзывалось, резонировало с книгой Дионисия Ламбинуса. Мир средневековых манускриптов и первоизданий раскрыл передо мной свои объятья. “Ух ты, – сказал я. – А ты что, в Испанию ездил эту рукопись копировать?” – “Нет, что ты, – засмеялся Игорь, – какое там. Мне прислали фотокопию”. И он показал черно-белые снимки греческого манускрипта, которые через пару лет я бы вполглаза определил как середину или конец XIII века, а тогда я только дивился этим завиткам и поразительно красиво и просторно написанной букве “бета”, похожей на очки, поставленные на попа. Еще я увидел, что этот почерк чем-то напоминает заметки на полях фолианта, который я изучал. Игорь увидел, как у меня горят глаза, и предложил мне не то чтобы заняться, не то чтобы посвятить себя, но так, обратить внимание на средневековые греческие манускрипты, которых, как он сказал, и в Москве довольно много. Прежде всего в библиотеке Исторического музея, который на Красной площади, а также в отделе рукописей библиотеки имени Ленина.

\* \* \*

Игорь был платиновым блондином, хорошего, но не слишком высокого роста, с крепкими плечами. Потом, уже через пару лет, он мне рассказывал, что к ним в школу приходили какие-то тренеры отбирать ребят для профессиональных занятий классической борьбой и что он был единственным мальчиком из их девятого класса, которого они пригласили в секцию. Потому что он занимался гантелями. “В секцию я, конечно, не пошел, – сказал он, – но все равно приятно. Вместо классической борьбы – классическая филология”.

Мы с Игорем очень хорошо подружились. Вот именно что хорошо. Не то чтоб мы были друзьями не разлей вода, звонили друг другу каждый день – нет. Но дружба наша была какая-то очень добрая и глубокая.

У меня была папка перепечатанных на машинке избранных стихов Гумилева. Эту папку какой-то старичок подарил Белле Ахмадулиной после ее выступления в музее имени Пушкина

– так она рассказала и подарила эту папку мне. А я дал ее Игорю. Дал просто почитать, сказал – нужно будет, я у тебя заберу. Но не попросил назад. То есть как будто подарил.

Бывало, мы с Игорем просто гуляли по Москве, выпивали в какой-нибудь стекляшке, под столом разливая водку в граненые стаканы. В московских стекляшках, то есть в маленьких кафе, на стойке всегда стоял поднос с пустыми стаканами. Непонятно зачем. Хотя на самом деле очень понятно: для пьющих граждан, которые приносят с собой. Выпивали и у меня дома вместе с Мишей Бибиковым – Игорь и его тоже перетащил из классической филологии в византистику.

Жил Игорь вдвоем с мамой, которая, по его словам, была очень строгая. Отец его то ли ушел из семьи, то ли рано погиб – Игорь никогда об этом не рассказывал. Помню только, что у него на столе стояла маленькая фотография, кажется, даже без рамки, просто прислоненная к вазочке для карандашей. Там был какой-то молодой офицер или даже сержант. Я покосился на нее и вопросительно поднял брови, а Игорь кивнул и сказал: “Ага”. Понимай как знаешь. Я не стал его спрашивать.

Жизнь Игоря была блестящей и трагической одновременно. Блестящей в научном смысле и трагической в человеческом. Он рано женился на милой молодой женщине – на мое двадцатилетие они вдвоем приходили, Игорь подарил мне целую коробку книг по византистике. У него родились дочери. Он стал профессором, много печатался. Работал и в СССР, и в Германии, по-немецки говорил как настоящий немецкий интеллектуал. Но что-то его томило, что-то выедало его сердце изнутри. Я не знаю, что именно. Да это и неважно теперь.

\* \* \*

Помню, в 1986 году мы праздновали 50-летие нашей кафедры.

О, это было прекрасное сборище. Почти все дожившие до этого срока выпускники были там, включая таких разных людей, как Михаил Гаспаров, Лев Озеров, Акакий Урушадзе, Наталья Покровская и многие, многие, многие другие. Пили, веселились, читали вслух латинские и греческие стихи, обнимались, хвастались, жаловались. И всё это был один круг, потому что за пятьдесят лет наша кафедра выпустила, кажется, 400 человек...

\* \* \*

Игорь тоже там был. В дорогом темно-синем костюме в тончайшую вишнево-красную полоску, элегантный, подтянутый, красиво причесанный, еще без бороды, которую он отпустил в последние годы жизни. Он сел со мной рядом, обнял. Я спросил его: “Как ты поживаешь, как дела, Игорь?” Я знал, что он то ли докторскую уже успел защитить, то ли профессора получил, то ли в Германии на стажировке побывал. В общем, полный блеск и суперкласс. Но он вдруг заплакал и сказал: “Денюша (он меня так называл)! Денюша, как мне плохо. Ужасно. Если бы ты только знал... Давай выпьем”. Тут я заметил, что он уже готов. Я сказал: “Ну хватит, куда тебе”. – “Хочу еще, – сказал он. – Всё ужасно”. Потом мне рассказывали, что он, несмотря на все свои научные успехи, на всё признание – профессор в Тюбингене, завкафедрой на истфаке МГУ и в Свято-Тихоновском университете, – страдал старинным русским недугом.

Он умер страшно – его тело нашли в тамбуре электрички. Внезапный инфаркт. Умер совсем один, в горячей грохочущей железной коробке. В это было невозможно поверить. На поминках после похорон (это было в Свято-Тихоновском) мы с Мишей Бибиковым вышли на крыльцо, постояли минуты две, и я сказал: “Пошли, Миша”. А он вдруг ответил (я клянусь, что он сказал так не нарочно): “Сейчас. Сейчас Игорь выйдет, и пойдем вместе к метро”. И вот тут-то мы поняли, что Игорь в самом деле умер.

Однажды, когда я был на пятом курсе, а Игорь уже работал в своем институте, он позвонил и сказал, что хочет со мной повидаться, у него есть ко мне разговор. Мы встретились на площади Гагарина. Там, где сейчас новое здание Академии наук под названием “золотые мозги”, а тогда там ничего не было, был большой, но низкий пятиэтажный дом, в котором был универсам “Спутник”. Игорь долго собирался с духом, а потом сказал, что вступает в партию. Он объяснил, тщательно подбирая слова, что это необходимо для того, чтобы спокойно и уверенно заниматься наукой. Проще говоря, для карьеры. Он не сказал, что его вынуждают обстоятельства, или что ему что-то за это сулят, или что он сам решил стать партийным карьеристом. Он говорил как-то очень обтекаемо и все время вздыхал и делал паузы. То есть, как я понял, он хотел сообщить мне, что в партию вступает по тяжелой необходимости. По условиям, царившим тогда в советской науке, а вовсе не потому, что он вдруг заделался таким шибко идейным. Мне даже показалось на секундоочку, что он у меня как бы прощения просит. Потому что мы часто вели с ним разные, как говорил мой друг Меликишвили (о котором расскажу позже) – разные, так сказать, “ревизионистские разговорчики”.

\* \* \*

Очень скоро Игорь Чичуров познакомил меня со своим старшим товарищем Борисом Львовичем Фонкичем. Тогда тот заведовал отделом рукописей и редких книг в библиотеке МГУ. Той самой, которая была слева от тогдашнего экономического факультета, если стоять лицом к памятнику Ломоносову. Огромное красивое здание с центральным читальным залом под стеклянным куполом, который рассыпался после знаменитой бомбежки 1941 года, и замечательным многоэтажным книгохранилищем. Как бы ажурным из-за тонких ребристых стеллажей, на которых стояли книги, и среди этих однообразно-пестрых полок, бесконечными рядами уходивших вправо и влево, вверх и вниз, вдруг, как яркие одинокие цветы на лугу, возникали очень красивые собрания томов: старинные переплеты, золотые тиснения по красному, синему, зеленому сафьяну. Это были нераскассированные библиотеки. То есть те, которые не распределили по книгохранилищу, а сохранили в целости. Помню библиотеку генерала Ермолова.

Кабинет Бориса Львовича был высокий, с красивыми, закрытыми понизу и застекленными поверху книжными шкафами, где стояли самые главные сокровища, шедевры старой печати – в том числе роскошный, двухтомный, безупречной сохранности, отпечатанный на тончайшем белейшем пергамене, разрисованный буквицами и заставками, переплетенный в красный сафьян экземпляр знаменитой Библии Гутенберга, так называемой майнцской 42-строчной. Этот экземпляр был в 1945 году вывезен из Лейпцига. Мой друг Саша Алексеев, который как раз учился в Лейпциге, рассказывал, что в отделе редкостей лейпцигской *Deutsche Bücherei* (Немецкой библиотеки) в книжном шкафу на полке было свободное место и табличка: “Здесь стояла Библия Гутенберга”. Ну что же... Но я ему, разумеется, не рассказал, где она теперь. А где она сейчас, я не знаю.

Письменный стол, за которым сидел Борис Львович, принадлежал знаменитому востоковеду Игнатию Крачковскому.

В этот кабинет и привел меня Игорь.

Фонкич был коренастый, круглолицый, курносый. Всегда веселый. Поразительно добрый, благожелательный, предупредительный. Он стал моим научным руководителем – все курсовые и диплом я писал у него.

Греческих рукописей у него было всего две – одна XV века, не очень интересная, речи оратора Лисия, а вторая ого-го! – X века, сочинения святого Василия Великого. И вот на этих двух кодексах я под руководством Фонкича делал первые шаги в искусстве чтения греческих манускриптов.

Потом мои занятия переместились в отдел рукописей Исторического музея на Красной площади. Там было поразительно хорошо. Огромный зал, высоченный потолок и окна от пола до потолка. В прихожей – книжные шкафы, где стояли старинные многотомные издания: отцы церкви на греческом и латыни, полный свод житий святых под названием “*Acta Sanctorum*” – 67 фолиантов, которые издавались с середины XVII до начала XX века, и еще масса энциклопедий, словарей, справочников, печатных каталогов.

А в читальном зале стояли столы для читателей, столы для сотрудников, а чуть вдали и тремя ступеньками вверх – святая святых, глухие шкафы красного дерева, где хранились рукописные книги.

Заведовала отделом знаменитая – разумеется, в нашем узком кругу – Марфа Вячеславовна Щепкина, дочь известного палеографа Вячеслава Николаевича Щепкина и правнучка великого русского актера Малого театра Михаила Щепкина. Того самого, который играл Любима Торцова в драме Островского “Свои люди – сочтемся”. Марфа Вячеславовна была похожа на своего прадедушку. Такое же широкое лицо, большие глаза и чуть-чуть совиный нос. Она была строгой и властной хозяйкой в своей библиотеке. Тогда руководители отделов и в самом деле воспринимали это как свое владение – если не собственность в полном смысле слова, то что-то очень похожее. Рассказывают, что самым главным Кашеем Бессмертным был Афанасий Федорович Бычков, хранитель древних рукописей в Публичной библиотеке Петербурга. Тот вообще не всякого даже до каталогов допускал. Сам был посредником между читателем и своими сокровищами. То есть Бычкову нужно было объяснить, что тебе надо, а он тебе уже подбирал рукопись. Конечно, это полнейшее безобразие, которое закрывает всякую возможность настоящей работы с архивом и с библиотекой. Но никуда не денешься, традиция. Марфа Вячеславовна, бывало, тоже задавала вопрос: “А что именно вас интересует?” Тут было маленькое жульничество. “Что именно” Марфа Вячеславовна спрашивала не в смысле, какая тема, какой век или какой жанр, а чуть ли не какая именно рукопись. А как можно ответить, предварительно не просмотрев каталоги, а потом и сами рукописи? Однако мое положение облегчалось тем, что в греческих рукописях ни сама Марфа Вячеславовна, ни ее верные помощницы Костюхина и Протасьева не разбирались. Поэтому она выдавала греческие рукописи почти свободно по каталогу, то есть по описанию, сделанному архимандритом Владимиром еще в XIX веке. Из греческих манускриптов запрещена к выдаче была только Хлудовская псалтырь. Оно и понятно – эта рукопись знаменита своими иллюстрациями, миниатюрами, а миниатюры могут осыпаться от частого перелистывания. Так что пускай стоит на месте. А вот драгоценную “Лествицу” 899 года, то есть конца IX века, Марфа выдавала мне совершенно свободно. Хотя, казалось бы, – великая реликвия.

Это была та самая рукопись, к которой меня приревновала прекрасная женщина, молодая, красивая и соблазнительно чуть старше меня, первокурсника, – о чем я уже рассказывал в предыдущей книге, но вот вкратце: *...говорил, что я влюблен в эту рукопись просто как в женщину, что нет ничего лучше на свете, чем эта книга IX века. Она вздохнула. “Что такое?” – спросил я. Она засмеялась и сказала: “Значит, я хуже, чем она?”*

\* \* \*

На длинных столах читального зала отдела рукописей лежала вспомогательная литература. Альбом по датировке и разлиновке рукописей Крисоппа и Сильвы Лэйк. (Разлиновка – отдельный разговор. Пергаменные страницы линовались острой палочкой, и фасон разлиновки иногда помогал определить место написания и всегда указывал на культуру книгописной мастерской.) Рядом лежал четырехтомный справочник по водяным знакам Брике, а также справочники по водяным знакам чуть поменьше объемом, но тоже громадные тома: “Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве” академика Лихачева (но не

Дмитрия Сергеевича, а Николая Петровича), его же “Палеографическое значение бумажных водяных знаков” и “Голова шута”, а также альбом Мошина и Трелича “*Vodeni znakovi XIII i XIV vijeka*” на хорватском, и еще “Якорь”, кажется, их же, но уже на французском – “*L’Ancre*”. Якорь и голова шута – это самые распространенные водяные знаки. Водяной знак позволяет датировать рукопись с точностью до десяти лет.

\* \* \*

Однажды в читальном зале появился маленький старичок. Бородка клинышком, почти лысый, седые волосы над ушами. Ну просто вылитый наш Сергей Иванович Радциг или Александр Николаевич Попов. Но те были советскими старичками, а этот явно импортный. И было это видно не только по его элегантному костюму, отглаженной сорочке и яркому галстуку, но и по всей манере стоять, разговаривать, перебирать лежащие на столе бумаги. Не обозначаешь – иностранец. Стоявший рядом Фонкич сказал мне: “Денис, идите познакомьтесь. Это Владимир Алексеевич Мошин”. И постучал по толстенной книге его авторства. Я почтительно поклонился, пожал ему руку. Фонкич объяснил старику, чем я занимаюсь. Тот одобрительно покивал. И тут я – помимо радости от встречи с великим палеографом – сообразил, что папаша этого Мошина, писатель Алексей Мошин, дружил с Чеховым и брал интервью у Льва Толстого. Это было очень интересно и вдохновительно, почти так же, как пощупать Мариинское Евангелие.

\* \* \*

Один раз какой-то неизвестный мне человек, но, судя по виду, процветающий филолог, преподнес Марфе Вячеславовне Щепкиной книгу. “Вот, – сказал он, – мой труд на основе ваших сокровищ, Марфа Вячеславовна, примите”. – “Спасибо, – ответила она. – Не нужно. У нас эта книга уже есть”, – она махнула рукой в направлении книжного шкафа, который стоял невдалеке. Всё это – и читальный зал, и столы научных сотрудников, и даже сама библиотека – ряды шкафов красного дерева – всё это был единый, как нынче бы сказали, опенспейс. “Так что спасибо, заберите”, – сказала Марфа. “Ну что вы! – сказал филолог. – Это вам лично. Возьмите домой!” – “Спасибо, но я не собираю домашнюю библиотеку”, – сказала Марфа с ударением на “о”.

Как странно! – подумал я тогда. Как я ей завидую... – думаю я сейчас.

Борис Львович Фонкич говорил мне по секрету, что Марфа в свои почти восемьдесят лет продолжает работать не только потому, что так любит древние рукописи, а потому, что у нее большая семья – внуки, может, даже правнуки, – и ее довольно высокая зарплата – существенный вклад в семейный бюджет. “Так что она еще и кормит целую ораву”, – грубовато сказал Фонкич. Мы с ним часто сидели рядом, потому что столы в Отделе рукописей Исторического музея были устроены по-особому. Не отдельные столики для каждого, как в Ленинке, а огромные, покрытые коленкором деревянные столы с пюпитрами для рукописей.

Ах, эти пюпитры! Тяжелые, массивные – чтоб увесистая книга не опрокинула свою подставку; с деревянными колышками, которые надо было вставлять в дырочки на нижней полке, чтоб удерживать пергаменную рукопись в раскрытом виде.

Столбы были двусторонние, за каждым могло уместиться самое маленькое шесть человек – трое с одной стороны, трое с другой.

Мы с Фонкичем сидели и перешептывались. Я задавал ему вопросы, показывал трудные места, лигатуры и сокращения, а потом мы с ним (не каждый раз, но довольно часто) шли гулять в Александровский сад или пить кофе в “Националь”, и он продолжал отвечать на мои

вопросы, руководить моей курсовой. В общем, учить меня. За что ему бесконечное спасибо и светлая память. Скончался он не так давно.

Как-то раз мы с Мишей Бибиковым вдвоем поехали к Фонкичу домой. Что-то то ли передать, то ли забрать, не помню точно. Но прекрасно помню, что мы пришли раньше времени и Бориса Львовича еще не было дома. Нас встретил его сын, чудесный мальчик лет десяти, по имени Федя. Потом, на обратном пути, мы с Мишей удивлялись его какой-то нездешней воспитанности. Как он нас встретил, принял пальто, провел в комнату, предложил чаю, поставил на стол вазочку с конфетами. И даже, представьте себе, шагнул в прихожую, потом вернулся и сказал: “Вот, если угодно, свежие газеты”. Сейчас он профессор в Австрии.

\* \* \*

Еще я ходил в Ленинку, в отдел рукописей, вход с улицы Фрунзе, ныне снова Знаменка, прямо в торце Румянцевского музея. А там по лестницам, которые крутились очень странной спиралью, натываясь то на Ленина с длинной узкой бородкой, подозрительно похожего на Мефистофеля, – с надписью, что основатель советского государства работал здесь в молодые годы, то – на следующем повороте – на Юдифь, которая внезапно протягивала входящему отрезанную голову Олоферна (хотя, может быть, это была Саломея с головой Иоанна Крестителя – но все равно страшновато). Наконец – читальный зал, который предварялся небольшим каталожным, так сказать, холлом.

Если в Историческом музее занимались исключительно исследователи древней книжности, славянской и греческой, то отдел рукописей Ленинки был гораздо обширней по своей тематике. Там были не только драгоценные древности, но и архивы вплоть до XX века. Поэтому рядом со мною, перелистывавшим кодексы XII–XV веков, сидели исследователи народовольцев и даже филологи, которые занимались XX веком. Один раз я видел, как сам Лотман приходил, с огромными усищами, читать рукопись сатиры Воейкова “Дом сумасшедших” – я подглядывал.

Руководила отделом Сарра Владимировна Житомирская, специалист по архивам XIX века. А древнерусской частью заведовал замечательный Николай Борисович Тихомиров. Мне посчастливилось взять у него несколько консультаций уже после того, как я определил тему своей дипломной работы, а тема эта была – “Текстология «Лествицы» Иоанна Синаита и ее славянских переводов”.

Там же я в первый раз познакомился с Мариэттой Омаровной Чудаковой. В первый – потому что второй раз я с ней подружился уже не как с литературоведом, исследовательницей Зоценко, Олеси и Булгакова, а как с пассионарией либерализма, пропагандисткой гайдаровских идей.

Замечательные люди сидели за соседними столами. Например, Ольга Сигизмундовна Попова, величайший знаток византийского искусства. Или Борис Михайлович Клосс. Фонкич рассказывал, что по профессии он – математик, но потом увлекся источниковедением и стал едва ли не лучшим палеографом по древнерусской части. Помню, как Клосс и в Ленинке, и в Историческом музее “перегонял”, то есть переписывал из рукописных кодексов какие-то тексты. У него был потрясающе ровный, красивый и внятный почерк. Но мало этого. В древних рукописях часто отдельные буквы или слова писались киноварью, а иногда вдобавок зеленью и лазурью. Так вот, перед Клоссом лежал набор разноцветных авторучек, и он копировал не только текст, но и цвет, которым текст был написан.

Помню, как я принес ему одну русскую “Лествицу” XIV века, написанную двумя писцами. Один писал первую половину, другой вторую. Во всяком случае, на первых и последних листах это были совершенно разные почерки. Однако где-то в середине возникало странное чувство, что первый писец как-то немножечко устал, а потом за работу принялся второй писец,

и он тоже поначалу был какой-то вялый и только в конце взбодрился. Я показал эту рукопись Клоссу, благо он сидел за соседним столом, и сказал: “Борис Михайлович, ради бога, вот здесь два писца, и я никак не могу понять, где кончается один почерк и где начинается второй”. Он, наверное, полчаса внимательно листал рукопись, вглядывался, шурился, даже брал увеличительное стекло, а потом сказал: “Почерк один”. – “Что же это он так?” – спросил я. “Ну мало ли что. Мало ли какое у человека бывает настроение. Может быть, он ее вообще месяц писал. Может быть, там что-то случилось вот на этих вот листах, – Клосс показал середину рукописи, – и он был чем-то потрясен, но потом пришел в себя, но уже в совершенно другом настроении”. Я подумал – а в самом деле. Может быть, монастырь осадили кочевники. Может быть, был пожар в городе. Или, может быть, он как-то согрешил и был наказан настоятелем. Но в любом случае это был один и тот же почерк, и Борис Михайлович доказал мне это, показывая мельчайшие особенности начертания букв, которые сохранялись даже при изменении общего облика строки и страницы.

Были забавные посетители. Например, профессор Новицкий, известный историк и какое-то время декан истфака МГУ. Он не раз приходил, брал заказанные архивные папки, клал на них голову и засыпал, громко храпя. Миша Бибилов шутя объяснял мне, в чем дело. У профессора Новицкого была дочка, в те поры знаменитая юная пианистка Катя Новицкая. Наверное, она дома день и ночь тарабанит, смеялся Миша Бибилов, не дает папаше выспаться. Вот он и приходит в библиотеку отдохнуть, подремать хоть чуток. Был австрийский профессор Хамм, известный славист. Естественно, мы общувивали звучание его фамилии. Профессор Хамм изучал Мариинское Евангелие, драгоценный кодекс X века, один из немногих памятников старославянского языка в точном лингвистическом смысле слова, да еще написанный глаголицей. Когда Хамм уходил, этот кодекс в простом футляре из картона оставался на резервных полках, то есть не отправлялся обратно в хранилище и в сейф, а ждал, пока профессор придет завтра. И вот я, самостоятельно относя свои “Лествицы” на эти полки, тайком доставал Мариинское Евангелие из футляра и просто гладил, прикинул, причащался. Это было важно. Для меня.

\* \* \*

Там же я познакомился с молодым английским ученым, которого звали Деннис О’Флаэрти. Он изучал русских славянофилов. А с ним мы разговорились в курилке (курилка там была чудесная, очень маленькая, но зато сводчатая). Потом как будто бы даже сдружились. Он сказал, что ищет книгу Гиляровского “Москва и москвичи”, – ее нет нигде, ни в букинистических, ни тем более в обыкновенных магазинах. А у меня, о счастье, было два экземпляра, одинаковых, оба с фотографиями. Я подарил ему эту книжку, а он в качестве ответного подарка принес мне прекрасное австрийское издание Мариинского Евангелия. Разумеется, факсимильная перепечатка со старого русского издания академика Игнатия Ягича. Я намекнул, что хочу именно эту книгу, и он, представьте себе, в течение своей не такой длинной научной командировки успел заказать ее где-то в Европе и получить по почте. Он очень хорошо говорил по-русски, и жена его тоже. Жену звали Венди. Жили они на Ленинских горах в аспирантском общежитии в главном здании. Под большой звездой, как сказал он мне.

Пару раз вместе с Венди он был у меня дома. Я познакомил его с папой. Папа тогда доживал свой последний год. “Познакомься, папа, мой тезка О’Флаэрти”, – сказал я. Деннис достал сигареты “Мальборо”, выщипнул одну и протянул пачку моему папе. Тот сказал: “Спасибо. Я не курю уже давно”. И вдруг, покосившись на меня, как будто бы по секрету от меня, нагнулся к нему и вполголоса сказал: “Что-то у меня не то с головой в последнее время делается”. Флаэрти светски улыбнулся и закурил. Закурил и я. А папа пошел-пошаркал к себе.

Однажды Флаэрти сказал, что у них в посольстве есть нерастраченный запас книг – английская классическая литература. Вот прямо от Шекспира до Голсуорси. Если я или мои друзья хотим, он может нас туда привести, и мы сможем совершенно бесплатно набрать себе таких книжек. Или, если нам лень или неохота идти в посольство, пожалуйста, скажите, что вам нужно, тебе или твоим друзьям, составь списочек, и я принесу сюда. И он похлопал по дивану, на котором сидел в моей комнате. Я поблагодарил и на всякий случай посоветовался со своим другом Андрюшей Яковлевым. Но он сказал: “Не надо. Как-то боязно, понимаешь, старик”. – “Чего ж тут бояться? – возразил я. – Это ж не какая-нибудь там, боже упаси, анти-советчина. Это ж чистая классика. Чарльз Диккенс, Томас Гарди, в крайнем случае Киплинг. Что ж тут такого?” – “А вот такого и сякого! – сказал Андрюша. – Рожей мы с тобой не вышли, в посольство ходить и книжки от них в подарок брать. Только неприятности наживем. Я тебе серьезно говорю. Сам не пойду и тебе не советую”. Как это, честное слово, странно. Но как похоже на всю нашу жизнь.

Как-то раз Флаэрти радостно сообщил мне, что его жена забеременела. “Прямо в Москве! – сказал он. – Ты понимаешь? Прямо в Москве, прямо в нашей комнате. Под большой звездой. Наверное, ребенок будет коммунистом”, – сказал он.

Этому ребенку – надеюсь, что беременность и роды прошли благополучно – сейчас за пятьдесят. Может, и в самом деле узнать, кто там получился? Что касается самого Флаэрти, то он не пропал, хотя и не стал особо знаменитым. В 1999 году выпустил монументальную антологию “Цензура в царской России”.

Один раз Деннис и Венди были у меня вдвоем. Пообедали. Помню, был суп с грибами, нас кормила мама. Я сказал, что моя мама окончила иняз с английским языком, и Венди тут же заулыбалась: “*Let us speak English!*” Мама ответила: “*Sorry, I am out of practice*”. – “*So, practice!*” – еще приветливее улыбнулась Венди, но мама покачала головой. Потом Венди почему-то ушла, а Деннис остался, и мы с ним поговорили еще часок, сидя у меня в комнате. В общем-то ничего удивительного – может быть, у нее была назначена встреча с подругой вот прямо сейчас, а у него – беседа с научным руководителем через два часа. Не болтаться же на улице, в самом деле. Тогда просто так зайти посидеть в кафе было совершенно невозможно. Кафе было мало, у дверей всегда очереди – так что всё понятно.

Но мне почему-то стало тревожно. Какой я все-таки был советско-подозрительный человек! Я испугался, что сейчас он начнет меня вербовать или *пропагандировать буржуазную идеологию*. Но мы с ним разговаривали, что называется, о том о сем, а потом он откланялся.

Как раз тогда я делал, сидя в отделе рукописей Ленинки за соседним столом с этим Деннисом, описание так называемой Румянцевской Лествицы, самой ранней славянской рукописи этого великого текста – XII века. Описание я делал подробное, полистное, с тщательным перечислением особенностей почерка, а также выписывая слова, которые мне казались интересными в смысле указания на особую древность перевода. Тем более что первый славянский перевод “Лествицы” был, грубо говоря, неточен и коряв и изобиловал очень редкими словами.

Эта тетрадка, страниц тридцать или даже сорок, – почти полное описание, я не успел описать буквально десяток последних листов, – вдруг у меня пропала. Вот прямо со стола. Пока ходил курить или пока ходил с кем-то болтать. А может быть, я забыл на столе, так тоже случается. Оставил. Но тогда бы ее, конечно, заметили хранители, меня же там хорошо знали, нас там постоянно занималось всего человек двадцать, одни и те же лица.

Я рассказал о пропаже Андрюше Яковлеву. Он посмотрел на меня и сказал: “А вот теперь сознайся. Ты подозреваешь своего англичанина”. – “Ни в коем случае, – сказал я. – Он занимается славянскими комитетами, балканской войной, 1870-ми годами. На кой хрен ему описание рукописи XII века?” Но Яковлев эдак хитренько посмотрел на меня, прямо в глаза, щелкнул пальцами и сказал: “А ты его все равно подозреваешь”. И этим, как ни смешно, слегка отравил мои воспоминания о Деннисе Флаэрти, который, конечно же, не брал мою тетрадку.

Однако мне до сих пор интересно, куда она все-таки девалась, хотя ее пропажа совсем не повлияла на написание моего диплома. Потому что столь подробное описание рукописи на самом деле никому не нужно. Даже знаменитый архимандрит Амфилохий Сергиевский – вот уж был спец по излишним подробностям, которые сейчас для нас драгоценны, – и тот в своих палеографических описаниях такого не делал. А зачем это делал я, сам не знаю. Из какой-то странной любви к палеографии и даже, представьте себе, к данному конкретному кодексу. Да, к некоторым рукописям я был равнодушен, некоторые у меня вызывали симпатию, а к самым любимым кодексам и почеркам я испытывал настоящую страсть.

\* \* \*

В рукописный отдел ГБЛ часто приходила Наташа Кобяк – студентка, палеограф и – позднее – видный текстолог древнерусской литературы, мы с ней подружились, и я заходил к ней потом, когда она работала в Научной библиотеке МГУ. Много позже она через своих зарубежных друзей раздобыла для меня оттиск знаменитой статьи Эрнста Канторовича “*Pro patria mori*” – о развитии и эволюции понятия “родина” в средневековой политической мысли; это было еще в доинтернетную эпоху, когда ничего нельзя было наугадить и скачать, а мне эта статья была нужна уже для моих политологических занятий.

Еще там была Катя Дувакина, она занималась сербским искусством – в том числе миниатюрами в рукописных книгах. Собственно, мы с ней не были по-настоящему знакомы. Но когда мне кто-то сказал ее имя и фамилию, я стал смотреть на нее во все глаза, потому что ее отец, преподаватель филфака, был, пожалуй, единственным человеком на нашем факультете, который вслух и активно заступился за Синявского и очень за это претерпел.

Однажды я выходил вместе с нею из читального зала; был уже поздний вечер. Мы дошли до станции метро “Библиотека Ленина”, до того входа, который у подножья Дома Пашкова, и я неизвестно зачем спросил: “А вы сейчас в каком направлении?” Катя слегка пожала плечами и сказала: “Домой, – и добавила просто из вежливости: – А вы?” – “А я направляю свои стопы к пиршественному столу, за который и восседаю”. – “Что-что?” “К друзьям поеду, пить вино и веселиться”, – сказал я.

Она посмотрела на меня с недоумением и даже, как мне показалось, с легким осуждением. Но я сказал: “А то поедете со мной? Там хорошо”. Я постыдился добавить, что планируемая выпивка будет совмещена с семинаром по Платону, этакий античный философский “симпозиум”. Потому что одно дело приглашать незнакомую девушку просто в гости, в веселую компанию – наглоть, конечно, но всё-таки в рамках нормы. А приглашать пообсуждать Платона за стаканом вина – какой-то несусветный выпендрож, да и поверить трудно.

“Нет, спасибо”, – холодно сказала Катя, и больше мы с ней не разговаривали.

Почему я вспомнил и рассказал об этом?

Потому что я до сих пор не могу понять, кто я тогда был. Гуляка праздный или прилежный палеограф?

Может быть, это и в самом деле были два разных человека. Или даже три, если прибавить философа.

## 4. Дубулты

Летом 1970 года – то есть после моего второго курса – мы с мамой поехали в Дубулты под Ригой, в Дом творчества писателей Литфонда СССР имени Яна Райниса. Папа с нами не ездил. Он уже тогда чувствовал себя неважно. Ему была трудна ночь в поезде, труден был и самолет, хотя лететь было всего час с небольшим.

Он оставался на даче с моей маленькой сестрой Ксюшей и няней Полей. Папа сам посылал нас в Дубулты, сам покупал нам путевки, но вот мы уезжали, и он скоро начинал писать маме письма, просил поскорее вернуться. Ревновал? Может быть. Мама была очень красива. Настоящая русская красавица. Это было ее эстрадное амплуа – ведущая программы в танцевальном ансамбле “Березка”: в сверкающем сарафане, с накладной косой, в кокошнике. Она всегда была красива, но особенно похорошела, помолодела и посвежела после того, как в сорок один год родила мою сестру Ксюшу. Мужчины на нее засматривались. В самом прямом смысле слова: идешь с ней рядом по улице или по пляжу – а они смотрят. Именно в Дубултах за мамой стал ухаживать республиканский поэт, о котором я уже рассказывал.

\* \* \*

Дом творчества был напротив железнодорожной станции, полчаса до Риги. Сойти с электрички, перейти узкое шоссе – и ты на месте. Огражденная низким забором территория выходила прямо к морю, то есть к Рижскому заливу. С другой стороны станции – справа, если смотреть в сторону Риги, – была река Лиелупе.

Рижский залив был утомительно мелким. Надо было идти пятьдесят, а то и сто шагов, прежде чем намочишь трусы. Поэтому мы обычно плавали на мелководе, не заходя особенно далеко и время от времени натываясь коленками на песчаное дно.

Но именно здесь, в этой мелкой воде утонул, купаясь, великий русский критик Дмитрий Иванович Писарев. Но тогда, в XIX веке, здешние купальни были устроены особым манером: это были как бы плоты, плавучие помосты с домиками для переодевания и лесенками, чтобы спускаться в воду. Гребцы на лодках оттаскивали эти плоты подальше от берега, туда, где поглубже. Вот в такой купальне и утонул тот самый Писарев, который сказал, что сапоги выше Пушкина и что в России нужны не школы, а университеты. Ему было всего двадцать восемь лет, и он уже успел написать четыре тома шокирующих статей. Можете себе представить, что было бы, если бы он дожил хотя бы до пятидесяти? Вполне возможно, что революция в России случилась бы на двадцать лет раньше.

Официальный адрес Дома творчества был – улица Гончарова. Потому что туда любил приезжать великий русский писатель, автор трилогии “О-О-О”: “Обломов”, “Обрыв”, “Обыкновенная история”.

\* \* \*

Забор, закрытые на хилую задвижку ворота, безо всякого замка и уж, конечно, безо всякой охраны... Забор – только со стороны улицы, а со стороны залива просто кусты, а меж кустов – тропинки или ступеньки, ведущие к пляжу.

На этой территории – несколько старых деревянных домов, как тогда говорилось, “корпусов”. Только один был весьма солидный, похожий на московский ампирный особнячок – тоже деревянный, но оштукатуренный. В этом красивом корпусе жило литературное начальство, секретари правления и члены правления Союза писателей или просто знаменитости. Драма-

тург Арбузов, например. Писатели попроще жили в более демократичных корпусах. Что же касается членов семей вроде нас с мамой, то мы жили в корпусе около самых ворот. Он был очень скромный, не сказать – ободраный. В другой раз мы жили в дальнем углу территории, в здании, которое называлось “Детский корпус”. Еще был “Охотничий домик” и “Дом с привидениями”, тоже деревянный, ободраный, но с винтовой лестницей и с широким крыльцом из замшелых камней. Туалетов в номерах не было. Туалеты и душевые были на этаже, то есть в коридоре, общие для всех. В каждой комнате была раковина, и уже спасибо. Горячей воды не было. Я брился холодной водой, безопасная бритва больно скребла.

Когда мы приехали, уже шло строительство большого многоэтажного современного корпуса. Был готов только широкий первый этаж, в котором располагались столовая, буфет и кинозал. Старожилы говорили, что это прекрасно, потому что раньше кино не было вовсе, а столовая была втиснута в один из деревянных корпусов. А тут она была широкая и современная, как тогда говорили.

О, эти выходы к завтраку, обеду и ужину, когда писательские жены, писательские вдовы и писательские дочки, косясь друг на друга, поднимались по маленькой лестнице из холла в столовую! Каждой было чем похвалиться. Великим именем, дорогой модной одеждой или просто молодостью. Справедливый баланс: вдова, жена, дочь – у каждой свои козыри. Но бывали случаи обидные и возмутительные. Например, когда женой известного и богатого писателя вдруг оказывалась сущая девчонка. Ну, конечно, не прямо уж совсем девчонка, а молодая женщина, которая годилась ему в дочери.

Бывали случаи еще более возмутительные, когда пожилой, уродливый, но зато очень известный писатель – малорослый, пузатый, с носиком пипочкой, короткими пальцами и мелкими желтыми зубами – на глазах у всей столовой и всего холла бросал свою прекрасную и довольно молодую, меньше сорока лет, красавицу-жену, которая, кстати говоря, и без него кое-что из себя представляла, и все только удивлялись, что могло заставить ее выйти замуж за этого уroda, – ему бы в детском спектакле про Дюймовочку играть старую жабу, – так вот, весь бомонд видел, как она страдала, сидя одна в кресле, меж тем как ее гнусный муж флиртовал с двадцатилетней внучкой некоего одиозного литератора. Внучка была точно такая же, как ее дедушка, бездарный привластный жополиз и антисемит, – пигалица с угреватым носиком, маленькими глазенками и сальной челкой. Потом они садились в такси и куда-то уезжали, а брошенная красавица-жена красиво страдала в красивом кресле.

\* \* \*

Я запомнил два события тех дней – кроме купания и беготни.

Длинный разговор с мамой.

Был, еще раз сам себе напоминаю, 1970 год. А я всё никак не мог забыть какую-то полудетскую – ну хорошо, подростковую – разлуку двухлетней давности. Девушка, в которую я был влюблен с восьмого класса, вдруг объявила, что полюбила другого и выходит за него замуж. Она сказала, что с “этим человеком” – у нее “всё серьезно”. То есть выходило, что все эти годы, встречи-проводы, телефонные звонки и даже письма – а она писала мне письма! – что всё это было – или вдруг оказалось? – просто так, ерунда, чепуха, детские игры, школьные забавы, а вот сейчас наступило нечто настоящее. А со мной была какая-то чепуховина.

Вот именно это меня поразило. А не сам факт того, что девушка меня разлюбила. Поэтому я вдруг становился мрачен, на все мамины вопросы отвечал односложно, а то и просто махал рукой и отворачивался.

\* \* \*

Боже, какой я был удивительный эгоцентрик!

Разлука произошла летом 1968 года, то есть за два года до этого запоздалого приступа тоски. Я уже успел несколько раз влюбиться и снискать радостную взаимность, и сам не раз расставался со своими любовями – причем не всякий раз отменно благородно. Исчезал, убегал, не подходил к телефону, при внезапной встрече делал вид, что у нас ничего не было... То есть вел себя ужасно. Но забыть и простить вот ту, бросившую меня девушку, я не мог.

Моя мама прекрасно знала про эту историю. Тем более что она, эта девушка, то есть уже молодая дама, она же замуж вышла – она, вот ведь ужас-то! – дружила с моей мамой. Звонила ей по телефону, а иногда даже заходила в гости, когда меня дома не было.

“Хватит! – сказала мама. – Сколько можно? Ничего страшного. Бывает, что девушки разлюбляют молодых людей. Это очень обыкновенно”.

“Нет! – обиделся я. – Так не должно быть! Я столько сердца, столько своей любви ей отдал!” Я говорил как по писаному. Кажется, мама чуть-чуть улыбнулась. “Понятно, – сказала мама. – То есть ты в нее как будто бы вкладывал свою любовь, свое сердце, а она...” – и мама сделала паузу. “Да!” – чуть не закричал я. “А она всё это как будто бы отдала другому. Так?” – жестоко сказала мама. “Так”, – сказал я. “Нет, все-таки не так, – сказала мама. – Она не обязана была возвращать тебе вклад с процентами”. – “Ага! – злопамятно сказал я. – Значит, никто никому ничего не обязан?”

\* \* \*

Это был давний семейный спор. Прекрасно помню разговор мамы и папы. У мамы была тетка, ее мамы сестра, Анастасия Алексеевна, тетя Стася мы ее звали. Женщина с очень крутой биографией: беглянка из мещанской провинциальной семьи, танцовщица в московском кабаре, внезапная жена богатого адвоката (у них был целый этаж в роскошном доме, угол Колымажного и Ваганьковского переулков, то есть на задах нынешнего музея имени Пушкина), а потом – бедная старушка в коммуналке, в одной комнате с пожилой незамужней дочерью. Она всё время повторяла: “Никто никому ничего не обязан!” – наверное, имея в виду свою странную несчастную жизнь.

Однажды мама, уж не помню к чему, сказала – так, походя, пряча перетертую посуду в буфет: “Как говорит тетя Стася, никто никому ничего не обязан”.

И вдруг папа возмутился, просто чуть не закричал: “Как это? Что ты сказала? Ты действительно так считаешь?” – “Ну, в общем-то, да, – сказала мама. – Всё, что мы делаем друг другу, мы делаем добровольно. Потому что мы хотим это сделать”. – “Нет! – закричал папа. – Это не так! Подло так рассуждать! Люди скованы тысячью обязательств. Каждый человек обязан своим родителям, своим учителям, своим товарищам по работе. Людям, которые тебя выручают каждый день. Своим друзьям. Всем вокруг. Все друг другу обязаны. Это цинизм – говорить, что никто никому ничего не обязан”. Они стали кричать друг на друга, а я ушел из комнаты. Я понял, что там что-то болит и цепляет – причем их обоих. Какой-то старый, до сих пор не решенный вопрос. А мне было лет десять, и я не хотел в этом разбираться. Я ненавидел, когда мама с папой ссорятся. Особенно, если не понимал из-за чего.

\* \* \*

“Значит, – повторил я, – никто никому не обязан?” Повторил со значением, громко, упрямо глядя на маму. Мне кажется, что она вспомнила ту давнюю ссору с папой и даже покраснела. “Да! – сказала она. – Но не в том смысле. Не в смысле, что можно обманывать друг друга, пользоваться дружбой, а потом плевать в колодец. Нет. А в смысле, что по обязанности ничего не получается. По обязанности получается тоска, рабство и злоба. Поэтому она ничем тебе не обязана. Радуйся тому, что ты за ней ухаживал, ходил с ней под руку. Ведь есть же, о чем вспомнить? Правда?” – она улыбнулась. “Не знаю, мама, – сказал я. – Может быть, ты права. Но я так не могу”.

Я очень долго так не мог. Смог сравнительно недавно. Лет через сорок после этого нашего с мамой разговора. Но до сих пор у меня нет твердого ответа: что же? обязан или не обязан?

\* \* \*

В Дубултах собралась приятная компания ребят. Брат и сестра Строевы, дети знаменитой театральной критикессы. Кирилл Арбузов. Очаровательная девочка Марина Эдлис, но совсем маленькая, лет двенадцати. Веселый и добрый Сережа Устинов. Сплошные дети драматургов и Галя Ваншенкина, дочь поэта (сейчас она прекрасная художница, с выставками и альбомами). Еще были две девочки – Юля и Люся по прозвищу Мышка. Юля отдыхала без родителей, под присмотром Мышкиных папы с мамой. Мышкина мама была известный врач, а папа архитектор, веселый и умный мужик с милым круглым русским лицом. Учил меня играть в преферанс на двоих, рассказывал забавные вещи про архитектуру и был загравлен своей женой, которая жучила его как еврейская мама из анекдота. “Надень свитер, вытащи воротничок рубахи, чтобы шею не натерло. Что у тебя на ногах? Переоденься, мы идем к морю” – и вот так целый день. Но пара была счастливая. Им обоим это нравилось. Правда, моей маме эта дама не нравилась. Мама сказала, что когда-то возила папу к ней на прием, и она была резка, холодна и несочувственна.

Мышка была маленькая, худенькая, стройненькая, с аккуратно выстриженной челкой, лицом похожая на отца, но с маминой цепкостью во взгляде. В дальнейшем она стала главной героиней мощной семейной драмы с фамильными бриллиантами и внезапными исчезновениями – но об этом надо писать отдельную книгу страниц на восемьсот.

Однажды вечером все сидели на берегу и старик Арбузов вдруг захотел искупаться. Он велел своему сыну принести полотенце. “Короткое полотенце, – сказал он. – Короткое, понял?” Кирилл вскочил и помчался с пляжа к лестнице, ведущей к корпусам, а вслед за ним почему-то побежала Юля. Там ходу было полминуты, самое большое. Они вернулись минут через десять. Старик Арбузов уже купался, плескался где-то вдали. Кирилл положил полотенце на тот кусок скамейки, где только что сидел его отец. Они с Юлей присели рядом. Я посмотрел на них и представил себе: они вбежали в комнату, не зажигая света, – там с улицы, наверное, фонарь светил в окно – и принялись быстро целоваться и обниматься. Просто целоваться, но уж как следует, изо всех сил, пока никто не видит, а потом схватили полотенце и побежали назад. Юля была красивая девочка. Кроме того, очень модная. И вот я смотрел на нее и представлял себе всё это, и мне было совершенно все равно. Какая-то пауза желаний у меня вдруг возникла.

У меня тогда была одна девушка, но – в совершенно невинном смысле слова. Мы с ней пару месяцев встречались, гуляли, целовались-обнимались – в отдельные моменты весьма рискованно, – но я ни на чем не настаивал, не стремился дойти до конца, “получить”, как мы говорили тогда, – и как-то проморгал ее намек, что неплохо бы летом съездить куда-нибудь вместе.

В конце концов она поехала в турпоход со своими друзьями, а я отправился с мамой в Дубулты. Девушка писала мне письма, я их читал маме вслух. В письмах не было ничего любовного, никаких нежных слов. Зато были такие замечательные новости: “Вторую неделю живем на берегу реки, оскотинились совершенно, спим впятером в одной палатке, зубов не чистим, ходим гольшом на четвереньках”.

Я долго убеждал маму, что это была шутка, что они, конечно, чистят зубы и вовсе даже не оскотинились, и в одной палатке просто спят, в самом невинном смысле слова. Но мама все равно качала головой и цокала языком, хотя ей не были свойственны такие ханжеские жесты. Наоборот, она скорее одобряла всякие рискованные приключения. Во всяком случае, на словах.

Потом эта девушка вдруг приехала ко мне в Дубулты. Они всей компанией путешествовали по стране, а жизнь тогда была такая: рюкзак, плацкартный вагон и вперед, – внутри СССР, разумеется. Она написала, что такого-то числа будет в Риге и заедет ко мне. И вот она и вправду пришла. Я как раз был один в комнате. Она поднялась наверх (ей, наверное, сказали, где мы живем), открыла дверь без стука. Она была в брезентовом так называемом стройотрядовском костюме: серые брюки, серая куртка и, кажется, тельняшка под ней. Она прямо с ходу, шагая протянула ко мне руки. Мы обнялись, быстро поцеловались. Долго стояли, целуясь, совсем рядом с кроватью, застеленной пансионатским рыжим одеялом – китайским одеялом с лебедями, – в одном шаге от кровати, потом в полушаге, потом деревянная рама кровати уперлась мне в ногу – и я, совершенно непонятно почему, сказал ей: “Давай пойдем погуляем. А хочешь, зайдём в кафе или в наш буфет? У нас тут столовая есть и при ней буфет”.

Она долго смотрела на меня сквозь очки. У нее были светло-голубые глаза. Потом она сняла очки и посмотрела на меня, отступив на полшага. Это было немножко театрально. Она как будто прощалась со мной. “Ну что молчишь? – сказал я. – Пойдем кофе попьем? А хочешь, к морю”. – “Нет, спасибо, – сказала она. – Меня ребята ждут”. – “Где?” – спросил я. “Там, внизу” – она мотнула головой.

Потом первого сентября мы встретились в университете в большом холле первого этажа, но разве что кивнули друг другу. Но уже по другой причине – во всяком случае, с моей стороны. Потому что в самом конце августа на комсомольском сборище нашего факультета я встретился с Киной и всё в моей жизни на пару лет пошло кувырком.

И – чтобы не заканчивать этот летний сезон на грустной ноте – забавный случай.

Неподалеку, на станции Асари, отдыхал Саша Алексеев, мой товарищ по факультету. Кстати, он тоже отдыхал с мамой – выходит, не один я был такой урод. Саша познакомил меня с каким-то парнем по соседству, который взялся учить нас латышскому языку. Конечно, безо всякой фонетики-грамматики. Он писал на картонках – на изнанках сигаретных пачек – разные полезные слова и выражения: “Что это такое?”, “Как вас зовут?”, “Спасибо-пожалуйста” и, разумеется, самый главный вопрос “Пиво есть?”. С одной такой картонкой вышла замечательная история.

Этот парень написал вот такую очень полезную фразу: “*Es mīlu resnas un rudmatainas sievietas*”. Что означает: “Я люблю толстых и рыжих женщин”. Я случайно оставил эту картонку на столе в комнате. Вдруг вижу – на картонке приписано неизвестной рукой: “*Vai ta ir taisnība?*”. Я не понял, что это значит. Побежал к тому приятелю, и он перевел: “Это правда?”

Путаясь в догадках и фантазиях, я написал: “*Jā!*” Оставил картонку лежать, где была. На следующий день прихожу в номер после завтрака, а навстречу мне с ведром и шваброй из двери выходит уборщица Ильза, чернявая и жилистая, как хворостина.

А на картонке написано: “*Ļoti žēl!*” Что в переводе значит “Очень жаль!”

\* \* \*

Когда мы приехали туда в следующем году – новый корпус был уже выстроен.

Во всем новом корпусе в одном-единственном номере был прямой московский телефон. Там жил главный редактор “Литературной газеты” Чаковский. “Литературная газета” выходила по средам. На черной “Волге” Рижского горкома партии поздно вечером во вторник Чаковскому привозили самый первый контрольный экземпляр.

Кроме черной “Волги” к Чаковскому приезжала любовница, немолодая дама, латышка, стройная, белая, золотоволосая и синеглазая – воплощенная Латвия для монеты или символического бюста, чтоб стоял в каждой мэрии. Она была вдовой известного драматурга, человека весьма богатого, – его комедии шли по всей стране, особенно в провинции – но имевшего славу анекдотического скупердяя. Рассказывали, как он громко поучал собрата по профессии, когда тот заказывал в буфете рюмку коньяку: “Не будь расточителен! Пей простую водку! На сорок копеек дешевле, а результат тот же!”. Забавно, что этот брат тоже был известен как карикатурный жмот.

Чаковский курил трубку. Как положено настоящему трубочному гурману, трубки он постоянно менял. Это было заметно – они были разных фасонов. Он даже курил трубку стиля “Макартур”, сделанную из двух кукурузных початков. А может быть, это только я замечал, потому что тоже курил трубку, и у меня, представьте себе, тоже был кукурузный “Макартур”. Хотя остальные трубки у меня были, конечно, попроще, чем у Чаковского. Впрочем, и “Макартур” – трубка простая, очень дешевая, а называется она так в честь американского генерала – героя Тихоокеанского театра Второй мировой войны. Он на всех фотографиях с такой трубкой.

\* \* \*

Однажды мы с ребятами сидели в холле около места, которое теперь называется “рецепция”, а тогда называлось “администрация”. С нами сидел Додик Глезер. Все его так звали, хотя это был седой мужик, старый рижанин, переводчик с латышского на русский и обратно, и с немецкого тоже. Он любил общаться с ребятами. Однажды я спросил его, как будет по-латышски “*Ein’ feste Burg ist unser Gott*” – первая строка лютеранского гимна. Он ответил, и я это помню до сих пор. “*Tas Kungs ir musu stiprā pils*”. Мы все тогда были ужасно умные.

Вдруг открылась дверь лифта. Вышел Чаковский с дымящейся трубкой и подошел к нам. Он спросил: “Додик, как будет по-немецки «огонь»?” – “Фойер”, – ответил Додик. “А огонь в смысле команды? – спросил Чаковский. – Когда артиллерист кричит «Огонь!»” – “Тоже «фойер»”. – “Напиши, пожалуйста, по-немецки”, – Чаковский протянул Додику карандаш и лоскуток газеты. Додик написал “*Feuer!*” вот так, с восклицательным знаком. Чаковский поблагодарил, сел в лифт и уехал. “Зачем ему? – спросил я у Додика. – Как вы думаете?” – “Он пишет роман о войне”. Мне показалось, что Додик с трудом удерживается от смеха. Мне тоже вдруг стало ужасно смешно. Хотя, конечно, я несправедлив. Я ведь тоже чуть что залезаю в Гугл-переводчик.

\* \* \*

Мы стояли в очереди за билетами в кино. Кто-то захотел пропустить вперед без очереди престарелую Мариэтту Шагинян. Она устроила скандал на весь холл, объясняла, что она, во-первых, в добром здравии, а во-вторых, коммунистка. В очереди передо мной стоял означенный Чаковский, а рядом с ним – Саша Ильф, то есть Александра Ильинична, дочка знамени-

того сатирика. Они с Чаковским о чем-то разговаривали и собирались завтра пойти погулять вдвоем. Меня поразило, что они, во-первых, на “ты”, а во-вторых, как будто бы даже дружат.

Мы, конечно, знали, что “Литературная газета” – это трибуна интеллигенции, газета смелая, как тогда почему-то говорили, “левая”, и очень любили ее читать. С нетерпением ждали среды, когда она выходила. Бежали в почтовый ящик. Дома выхватывали ее друг у друга.

Но сам Чаковский был для нас воплощением советского официоза, важности, надутости, партийности, чиновности и всего прочего. Возможно, я несправедлив, поскольку не был знаком с ним лично. Но именно так он выглядел, когда горделиво шествовал по дорожкам Дома творчества, ни с кем особенно не раскланиваясь. А Саша Ильф, из-за обаяния имени ее отца, казалась мне воплощением всего демократического, левого и даже отчасти диссидентского. И она с Чаковским на “ты”? Она может гулять с ним по пляжу и разговаривать? Хотя, если рассудить здраво, фельетоны и даже романы Ильфа и Петрова были на сто процентов советские – точно такие же, как смелые разоблачительные статьи в “Литературке” Чаковского.

Я уже тогда начинал понимать, что мир сложнее, чем может показаться двадцатилетнему парню. Но и сейчас почти каждый день какие-то перекладины, рейки и стропила моего мироздания – трещат, ломаются и рушатся. Правда, на их месте немедленно появляются другие. Увы, столь же недолговечные.

Может быть, не увы, а к счастью.

\* \* \*

Там была еще Варя Бессарабова – совсем маленькая, она училась в седьмом классе или даже в шестом. Поразительно красивая – смуглой, чуть-чуть восточной, тонкой и большеглазой красотой. Она была дочкой известного ленинградского историка, который когда-то давно был мужем совсем уж знаменитой художницы, звезды русского авангарда. Звезда авангарда была сильно старше молодого доцента и умерла сразу после войны, так что Вариной мамой была вторая жена теперь уже профессора Бессарабова – сравнительно молодая дама, полная, темноволосая, тоже довольно красивая (как ее зовут, я сразу забыл). Дочь была лучше. Мама была приторно красива, а дочь – утонченно.

Мы всей компанией часто бегали на крышу – то есть на самый верхний этаж главного девятиэтажного корпуса. Наверху была огороженная площадка. Мы стояли там, смотрели то на реку Лиелупе, то на залив и курили. Сильный ветер обдувал наши сигареты, и от этого они горели быстрее, чем на земле. Варя Бессарабова не курила, она была маленькая. А я был уже на третьем курсе.

\* \* \*

Я не помню, о чем мы с ней говорили. Впрочем, мы с ней вдвоем ни о чем не говорили. Просто она вдруг кричала: “Хочу на крышу!” – и мы, сколько нас было, трое, четверо, пятеро, забивались в лифт, доезжали до верхнего этажа, пробегали еще пару лестничных пролетов и оказывались наверху, на сыром и прекрасном ветру. Через две минуты замерзали. Курильщики к тому времени уже успевали докурить свою “Шипку” или “Яву”, и мы снова неслись вниз.

Вдруг мама спросила меня: “А ты бы хотел жениться на Варе Бессарабовой? Мне кажется, что ты ей очень нравишься, и она тебе тоже”. – “Ой, слушай, хватит! Не сходи с ума”, – сказал я маме и почувствовал, что у меня краснеют уши.

Они покраснели так сильно, что я взялся за них руками. Они в самом деле стали горячими, и я через две секунды почувствовал, что влюбился в Варю Бессарабову по уши. Вот по эти самые горячие уши, которые я держал холодными руками.

Но я прекрасно понимал, что между нами ничего нет и ничего быть не может. Да, она красивая, умная, из хорошей семьи. Допустим, даже в меня влюблена. Но я уже на третьем курсе, а ей еще надо заканчивать школу! Сдавать экзамены! Значит, я должен самое малое пять лет ждать? Спасибо.

На следующее утро, когда Варя Бессарабова захотела на крышу, я сказал, что у меня насморк, а там сильный ветер. “Ты врешь! – сказала Варя. – А ну, похмыкай носом!” – Я похмыкал. “Ну вот! – сказала она, – нет у тебя никакого насморка, пошли на крышу”. Все стояли вокруг и смотрели на нас. “В другой раз”, – сказал я. “Мы сегодня уезжаем, – сказала Варя. – В Ленинград. Давай в последний раз”. – “Хорошо”, – я вызвал лифт. Мы опять постояли на крыше, покурили, побросали вниз крохотные камешки – даже не камешки, а крупные песчинки – и спустились вниз.

Часа через два Варя Бессарабова и ее мама с папой грузили чемоданы в такси, ехать на вокзал. Их провожали несколько человек. Моя мама была тут же. “Попрощайтесь, ребята”, – сказала она. “Пока”, – сказал я. “Пока”, – сказала Варя. Машина уехала.

Прошло несколько дней, и вдруг мне принесли телеграмму – прямо на стойку администратора. В телеграмме было написано: “дорогие все вскл (то есть телеграмма была просто на мое имя. А на самом деле всем). дорогие человеки вскл терпеть ненавижу ленинград тчк хочу на крышу вскл варя”. А внизу была приклеена ленточка со словом “так” и фамилией телеграфиста. По тогдашним правилам, если в телеграмме встречались какие-то необычные слова или странные выражения, то телеграфист обязан был переспросить отправителя и заверить это словом “так”. В смысле – не переврали.

\* \* \*

Я получил эту телеграмму как раз перед обедом, когда все собирались в столовую, и сразу показал ее ребятам. Мы посмеялись и тут же забыли про Варю, про телеграмму и про крышу. Да, и про крышу тоже, потому что на крышу мы с тех пор не ходили. Но не из-за того, что Вари не было, а потому что дожди. Балтийская погода.

Потом я вернулся в Москву. Мы всегда ездили в Дубулты в августе, так что у меня сразу началась институтская жизнь. Я думать забыл про Варю. Мне это даже странно стало. Я удивился: на какие-то три часа я в нее по уши влюбился, настолько влюбился, что мне даже страшно было к ней подойти, посмотреть в ее прекрасные, чуть-чуть узкие темные глаза – а вот теперь, поди ж ты, забыл совсем.

Внимательный читатель спросит: когда же это ты, голубчик, удивился, что забыл? Если ты и вправду забыл, то как же ты удивился? А если удивился сейчас, через сорок с лишним лет – то это не считается.

Нет, дорогой читатель, я знаю, что говорю.

Удивился я в середине октября того самого года, потому что мне пришло письмо от Вари. Всего один тетрадный листочек и на нем крупно наискосок было написано: “Хочу на крышу!!!” Вот так, три восклицательных знака. И подпись, две буквы – В. Б. Вот тут-то я и вспомнил про то, как влюбился в нее часа на три или около того, а потом совсем забыл. Мне стало стыдно и тревожно. Где-то далеко, за семьсот километров, живет чудесная маленькая девочка, красавица и умница, влюбленная в меня, а я совершенно не знаю, что ей ответить. Потому что она мне казалась принцессой, героиней старинной книжки, а вовсе не настоящей девушкой, которую можно взять под руку, не говоря уже о чем-нибудь другом. Да и причем тут “что-нибудь другое”, она же еще маленькая! Вот этот детский почерк, эти печатные буквы, этот – мне на секунду показалось – капризный девчачий тон. “Хочу на крышу”. “Хочу куклу”, “Хочу мороженого”.

Был у меня школьный приятель, старше меня – на год, на класс, – но мы дружили. Точнее, он оказывал мне дружеское покровительство. Его звали Андрей, фамилия Стуруа. Прозвище Стурик. Сын знаменитого советского журналиста Мэлора Стуруа, который писал статьи то из Лондона, то из Нью-Йорка. Один раз Стурик поделился со мной такими соображениями (он вообще любил поучать). “Понимаешь, старик, – сказал он мне, – я тут долго думал и понял, что девчонка должна быть сильно моложе. Пускай она будет совсем маленькая, хоть тринадцать лет. Ее надо выращивать и воспитывать для себя! – Он назидательно поднял палец. – Для себя, старик, понимаешь? Себе в жены! Чтобы она понимала тебя, как никто другой. Ну и ты ее тоже, конечно же. Понял?”

Я совсем забыл этот разговор – и вот вдруг вспомнил. Вспомнил, держа в руках тетрадный листочек, где было написано: “Хочу на крышу!!!” – и подпись – В. Б.

А вдруг Стурик дело говорит? – подумал я. Варе сейчас как раз лет тринадцать или около того. А мне – двадцать. Я буду писать ей письма, приезжать к ней в Ленинград, гулять с ней по садам и паркам, водить в музеи – то есть всячески ее воспитывать, и в результате, лет через семь, а может, даже чуточку раньше, у меня будет потрясающая жена.

Но всё это полный бред, разумеется, подумал я еще через три секунды. Меня, подлеца, вот что испугало: она вырастет и влюбится в какого-нибудь парня. Скажет мне: “Я безмерно тебе благодарна за наше общение, но я люблю другого”. Что мне тогда делать? Сказать: “Ты обещала, и поэтому ты обязана”? Она улыбнется: “Я была тогда совсем маленькая. Мне было тогда вовсе тринадцать лет”.

Но ответное письмо все-таки надо было написать.

Я написал ей длинный ответ – на машинке, потому что у меня был ужасающий почерк. А на машинке я шлепал довольно бойко, я даже папе помогал перепечатывать рассказы. Я написал ей длинное письмо, на целую страничку, через маленький интервал. Я писал примерно то, что мне за минуту до этого подумалось, но, конечно, другими словами. Осторожно, бережно, стараясь ни в коем случае не обидеть. Там вообще не было слов “любовь” и “влюбляться”. Я писал, что в ее возрасте не надо связывать себя какими-то длительными привязанностями, тем более прочными обязательствами. Но, конечно, я прибавил несколько туманных, лирических и отчасти философских фраз. Что-то про долготу жизни. То есть не удержался от легкого, легчайшего, ну просто микрометрического заигрывания. Прямо как Онегин, который в своей жесткой отповеди все-таки подпускает лирики и говорит Татьяне: “Я вас люблю любовью брата, и, может быть, еще нежней”. Какую-то щекочущую травинку он Татьяне протягивал. Даже не соломинку надежды, а цветок воспоминаний – засушить в книге. Что, мол, я вовсе не бессердечный педант, который учит юных девушек суровым правилам жизни, а точно такой же очарованный юноша – но чуть более взрослый.

Вспомнив про письмо Онегина, я решил не переписывать свое письмо Варе. Оставил всё как есть и – вот это я помню совершенно точно – забыл расписаться. Не поставил свою подпись авторучкой. То есть письмо было на машинке целиком.

Я, конечно, не ждал от Вари ответа, но все-таки удивлялся, что его нет. Мне казалось, что она должна написать что-то вроде: “Ты прав, но мы все равно будем друзьями”. Или “Прощай. Но вдруг мы встретимся через десять лет, когда я буду совсем взрослая”. Ну, или я не знаю что. Но хоть что-нибудь.

Ответа, однако, не было. Я время от времени вспоминал о ней, тем более что моя мама неизвестно зачем поставила себе на туалетный столик фотографию Вари в costume красавицы начала XIX века. Волосы на прямой пробор, навитые локоны вдоль ушей, скромное кольцо на стройной шее, и всё это в маленькой рамке из красного дерева. Как раз тогда мама купила себе – в Ленинграде, кстати! – старинный, чуть ли не первой половины XIX века туалетный столик. Когда она его купила (господи, да мы же с ней вместе ездили его покупать в Ленинград, но это совсем другая история), он был совсем ободранный, со сбитыми углами, но зато с целым –

“родным”, как выражаются антиквары, – зеркалом. Он долго стоял на площадке перед нашей квартирой, потом приходил реставратор, работал на этой площадке, и в результате получилась прекрасная, почти музейная вещица. Ну, музейная – это сильно сказано. Хотя для краеведческого музея в небольшом городе вполне бы сошлась.

И вот на этом туалетном столике в числе прочего – вместе с моей фотографией, где я, по уверению мамы, был очень похож на молодого Льва Толстого, вместе с фотографией моей сестры Ксюши в шестилетнем возрасте и вместе с красивым фото уже не раз упоминавшегося республиканского поэта – появилась и маленькая старинная рамочка с портретом красавицы Вари. “Зачем это?” – спрашивал я маму. “А тебе не нравится?” – спрашивала она. “Варя?” – спрашивал я. “Фотография, – отвечала мама. – По-моему, очень стильно”. – “Ничего стильного! – говорил я. – Эти три фото вместе, какая-то крошечка!” – “Тогда возьми себе”, – мама совала мне эту рамочку. Я прятал руки за спину. Мне кажется, мама меня дразнила. Зачем? Она меня довольно часто дразнила. Я к этому уже привык.

Я думал о Варе как о волшебном неразменном рубле, как о постоянном ресурсе, говоря по-нынешнему. На заднем плане моих мыслей, за кулисами сознания мне мерещилось: где-то далеко-далеко – а на самом деле всего в восьми часах на “Красной стреле” – живет девушка вот с этой самой фотографии, которая стоит на мамином туалетном столике. Она сидит и ждет меня. За таким же столиком красного дерева.

Однажды мама вернулась из Ленинграда, и прямо с порога: “Ты знаешь, что мне сказала Лара Бессарабова?” Я вспомнил – Ларисой звали Варину маму, жену ленинградского профессора. “Что она тебе сказала?” – “Ты не поверишь! Они вскрыли твое письмо. Письмо, которое ты послал Варе”. – “Там ничего такого не было”, – сказал я. “Не в том дело! – всплеснула руками мама. – Нельзя вскрывать чужие письма! Я ей так и сказала. Она сама завела этот разговор. Она была очень смущена. Она даже покраснела”. – “А как вообще об этом разговор зашел?” – спросил я.

“Она меня спросила: «Денис, наверно, ждет письма от Вари, ждет ответа?» Я ничего не поняла. И тогда она мне всё рассказала. Говорит: «Я нашла в почтовом ящике письмо для Вари из Москвы. Адрес напечатан на машинке и обратный тоже. Я увидела, что это письмо от Дениса. Мы с Василием Петровичем целый час сидели над этим конвертом и решали, что делать. Но потом все-таки решили вскрыть. Мы просто изумились. Такое тонкое, такое взрослое, такое мудрое письмо. Но потом мы решили, что Варе еще рано получать такие письма. Что оно ее разволнует, встревожит. Не письмо – оно безупречное, а сам факт. Сам факт, вы понимаете? И поэтому мы решили его сжечь вместе с конвертом». Вот так она мне всё объяснила, – сказала мама. И прибавила: – В конце концов, ты можешь ей позвонить. У меня есть их телефон”. – “Мама! – сказал я. – Наверное, это ты в нее влюбилась, а не я. Давай закроем тему”. – “И очень зря”, – сказала мама. “Закрыли”, – сказал я.

Жизнь Вари Бессарабовой сложилась прекрасно. Она рано вышла замуж за молодого талантливого экономиста, который чуть ли не в тридцать лет стал заместителем министра, еще в советские годы, что вообще чудо, а потом они уехали в Америку, и там он то ли возглавил инвестиционный банк, то ли основал брокерскую фирму.

Висела когда-то в Москве реклама “Росгосстраха”. Там было написано: “Все правильно сделал!” Вот и я думаю: все правильно сделал! Правильно, что я написал умное и сдержанное письмо, и Василий Петрович Бессарабов со своей женой Ларисой, которые перехватили его и сожгли, – тоже всё сделали правильно.

\* \* \*

Вернемся в Дубулты. Там была еще одна страннейшая пара. Вернее, никакая не пара, а отец с дочерью.

Отец был старенький, худенький – или казался таким, – с русым седеющим чубчиком и маленькими усиками под носом, со взглядом одновременно хитрым и растерянным, пронзительным и удивленным, и весь облик его был каким-то старомодным. Может быть, из-за того, что он всегда был в светлом пиджаке и белой рубашке с галстуком. Казалось, он чем-то сильно и окончательно смущен, поэтому всё время старался держаться сбоку, в сторонке, в тени.

Когда я узнал, кто этот человек – я стал глядеть на него во все глаза, и до сих пор жалею, что не подошел с ним познакомиться. Представиться, пожать руку, попросить автограф.

Это был замечательный писатель, автор автобиографического романа “Ленька Пантелеев” и целой кучи воспитательных рассказов для подростков: “Пакет”, “Часы”, “На ялике” и тысячекратно переизданное “Честное слово”. Кроме того, соавтор знаменитой “Республики ШКИД”. Его настоящее имя было Алексей Иванович Еремеев, а литературный псевдоним, под которым он стал известен, – *Л. Пантелеев* (не Леонид, а именно Л., как М. Горький и М. Агеев). С годами псевдоним сросся с именем, его называли Алексеем Ивановичем Пантелеевым, а на его могильной плите выбито “Пантелеев-Еремеев”.

Рядом с ним была девушка, ненамного старше Вари Бессарабовой. Но Варя была вся – радостное веселое детство, распущенные волосы, блузка, брюки, кеды. А эта девушка в бордовом шерстяном платье, темно-бежевых чулках, туфлях-лодочках, гладко причесанная, с пучком на затылке – она была как будто маленькой чопорной дамой, или старинной институткой, “смолянкой”, или даже монастырской послушницей – а на самом деле смесью того, другого и третьего.

Это была Маша, его дочь, героиня одноименной книги Пантелеева “Наша Маша”, несчастный объект ужасающего эксперимента, который проделал над своим ребенком этот умный, образованный, талантливый и, как потом выяснилось, истово верующий человек.

\* \* \*

Маша не бегала с нами на крышу, не ходила в нашей большой компании в кино или поплавать. Кажется, она вообще не купалась, а стояла возле скамеечки у самого спуска на пляж. И в самую жаркую погоду она была всё в том же дамском наряде, и у нее были затемненные очки.

С нами Маша не общалась, потому что мы курили, грубо выражались и шумели. Рассказывали неприличные анекдоты и слишком громко хохотали. Это мне потом мама объяснила, поговорив Алексеем Ивановичем.

В холле толпились и болтали писатели, писательские жены и писательские дети (слова “тусоваться” тогда еще не было), и я помню, как моя мама сказала ей: “Садитесь, Машенька!” – и указала на свободное кресло рядом. Но Маша потупилась, отошла на два шага в сторону и тихо сказала: “Благодарю вас, я постою”, – хотя вокруг было полно свободных кресел. Я ни разу не видел, чтобы Маша сидела – разве что в столовой. А так она всегда стояла в сторонке, в уголке.

Итак, моя мама разговорилась с Алексеем Ивановичем. Она могла познакомиться, разговориться и подружиться с кем угодно. Она спросила: “Простите, а что с вашей девочкой? Я ей предлагаю сесть рядом, а она отказывается”. Объяснение было какое-то странное, невнятное – дескать, все равно может войти пожилой человек и все равно придется уступать место. Поэтому все равно лучше стоять. И вообще, девушка-подросток должна быть скромной. “Скромной, скромной и еще раз скромной, – сказал Алексей Иванович. – В запросах и в поведении”. Он добавил, что приучил Машу никогда не садиться в трамвае или метро, чтобы как будто заранее уступить место всем, кому только возможно.

Через много лет в букинистическом мне попала книга Пантелеева “Наша Маша”, и я купил ее: мне в самом деле любопытно было узнать, что случилось с этой в общем-то приятной

девушкой. Когда я раскрыл эту книжку, я всё понял и чуть не заплакал от жалости к бедняжке. И мне, прости господи (ибо сейчас уже все умерли), захотелось съездить тяжелым предметом по умной головушке замечательного детского писателя.

\* \* \*

В начале этой книги он пишет, что они с женой часто видели детей капризных, своенвольных, невоспитанных, которые в раннем детстве требуют, чтобы им купили игрушку или шоколадку, и плачут, и верещат, и дрыгают ногами, упав на пол. А слегка повзрослев, они начинают ругаться матом, тайком пробовать вино, рассказывать похабные анекдоты, курить и лгать. Поэтому они с женой решили произвести на свет ребенка и вырастить его скромным и вежливым. Сказано – сделано. Родилась девочка, и они с первых дней начали ее воспитывать в духе скромности, самопожертвования, чуть ли не аскетизма.

Если бы в свои двадцать лет, когда увидел я Машу Пантелееву, я бы уже прочитал какие-то книжки по клинической психологии, мне стало бы еще страшнее. Я бы понял, что – всё, она уже никогда не станет нормальной.

Так и вышло. Бедная Маша провела остаток жизни в доме скорби. Ужасная история. До сих пор вспоминаю – сердце сжимается. При том что меня самого воспитывали в строгости. Я всегда сам гладил брюки и штопал носки, на даче колот дрова и топил печку, а дома помогал маме готовиться к приходу гостей. Но то-то и оно! Меня воспитывали не столько в строгости, сколько в труде. А это все-таки разные вещи. Бедная Маша!

У мамы сохранились письма от Пантелеева, где он пишет, что у Маши был тяжелый грипп, а потом осложнения, и после этого ее отправили в психиатрическую больницу. Неужели он на самом деле думал, что девочка безнадежно сошла с ума от гриппа, которым болеют сотни тысяч людей каждую зиму? Неужели он думал, что всё это действительно от тяжелой наследственности, от микробов, от загадочных “процессов в коре головного мозга” – в общем, от не пойми чего. Неужели он ни на секунду не подумал, что он сам, своими руками душевно покалечил и в итоге уничтожил свою единственную дочь, желая сделать ее скромной и вежливой?

Но, может быть, дело не только в этом кошмарно суровом воспитании, которое опрокинулось на голову бедной Маши. Дело может быть еще и в другом. Алексей Иванович был тайно верующим человеком. Об этом он написал в своей второй автобиографии под названием “Я верую”, изданной – по его завещанию – через три года после смерти.

Алексей Иванович прекрасно понимал, что открыто ходить в церковь и выполнять обряды в СССР разрешается только темным людям, старым дедам и бабкам...

\* \* \*

...Я помню случай, как меня не пустили в церковь в 1972 году, потому что я был молод и прилично одет. Была пасхальная ночь. Вокруг церкви – это была церковь Ивана Воина на Якиманке – цепью стояли ясноглазые молодые люди с очень комсомольскими лицами – веселыми, открытыми, добрыми и в то же время волевыми. Проходили согбенные бабки, проходили тощие старики, прошел юродивого вида юноша с клочковатой бородой, в огромной кепке и старых калошах – цепь расступалась, их пропускали к воротам церковной ограды. Но как только подходил я, цепь тут же смыкалась, и молодые люди меня отпихивали – не больно, но беспрекословно, круглыми налитыми плечами, и тихонько бормотали-напевали при этом: “Домой, домой, домой!”

\* \* \*

...Разрешается верить в Бога и ходить в церковь только темным дедам и бабкам. Ну, или если ты какой-нибудь совсем уже академик Павлов, тогда для тебя могут специально открыть маленькую церковь. Пантелеев не был темным дедом, но и академиком не был тоже. Он был уважаемым, но все-таки рядовым советским писателем. Поэтому в церковь ходил тайком. Порой даже – мне рассказывал кто-то – нарядившись в обноски и привязав седую бороду. Машу он приучал к христианской вере – и тоже всё тайком. В Бога верить необходимо, но в церковь ходить нельзя. Дома говорим одно, в школе – совсем другое. Наверное, эта кошмарная двойственность в сочетании с воспитанием-дрессировкой окончательно искалечила Машину душу.

Прочитав его духовную автобиографию, я понял, что, несмотря на свою истовую и даже фанатичную веру, в православии Алексей Иванович был диссидентом. Неясно, был ли у него духовный отец, “батюшка”, которому он исповедовался, из рук которого принимал причастие, – кажется, нет. То есть он был, по сути, монтанист, была такая раннехристианская ересь, отрицавшая церковь как институт. Он критиковал советскую официальную версию православия, его отчасти увлекал католицизм – особенно в польской, антисоциалистической версии. Он был сторонником крайних воззрений Тертуллиана, то есть верил в безусловную телесность души и в то, что она передается ребенку через семя отца (попытка подменить христианскую мистику языческой рациональностью).

Рассказывая о болезни Маши, он задает себе вопрос как бы от имени своих воображаемых оппонентов: “Безбожники скажут: исковеркали душу девушки. Нет, уважаемые, это вы исковеркали. Двойную жизнь она столько лет вела по вашей, а не по своей и не по нашей вине”. И в финале книги: “Вот положи руку на сердце задаю себе вопрос: «Что лучше: здоровая и безбожница или больная, но верующая?» И с той же искренностью, положи руку на сердце отвечаю себе: «Если третьего не дано – лучше второе». Господи, как жалко.

## Словарь А – В

### А

#### Авоська

Сумка, сплетенная из тонких крепких нитей. Легко укладывается в карман. Говорят, что такое название ей дал знаменитый эстрадный артист Аркадий Райкин, еще в 1930-е годы. От слова “авось”. Авось удастся что-нибудь купить. А еще рассказывают, что у Райкина в середине 1970-х был такой эстрадный номер:

Он молча выходил на сцену. На нем были джинсы, водолазка и кожаный пиджак. На плечи накинута дубленка. На шею наброшен пестрый мохеровый шарф. На голове – ондатровая шапка. В правой руке – атташе-кейс (то есть портфель в виде плоского кожаного чемоданчика). В левой – большая плетеная сумка (та самая авоська), в которой виднелись: бутылка виски “Белая лошадь”, банка растворимого кофе, банка красной икры, палка копченой колбасы и связка бананов. Сплошной дефицит. Эти вещи – от кожаного пиджака до копченой колбасы – просто так купить было невозможно. Можно было либо достать по знакомству, либо купить у спекулянтов с большой переплатой. Либо же иметь особые права – принадлежать к номенклатуре, то есть к правящей верхушке, для которой были особые магазины; или быть “загранработником” (дипломатом, например) – для них тоже были спецмагазины под названием “Березка”.

Райкин стоял и молчал минуту, наверное. Очень самоуверенно стоял. Как-то даже нахально. Зал его внимательно рассматривал. Минута – это очень долго. И вот, когда в зале уже начиналось ерзанье и слышалось покашливание, Райкин вдруг говорил:

– Почему я молчу, это понятно. Но вы-то почему молчите?

Занавес. Зал молчал еще секунд пять, а потом взрывался аплодисментами. Люди отбивали себе ладони. Кричали “браво!” Толкали друг друга кулаком в бок и говорили: “Вот это да! Вот это врзал! Как смело! И как он только не боится? Как это разрешили? Наверное, этот номер скоро запретят!”

Это весьма поучительная байка. Во-первых, она показывает реальное социальное расслоение в СССР. Но во-вторых – и это самое поучительное – точно не известно, был ли на самом деле такой эстрадный номер. Одни мастера советской эстрады говорят, что это выдумка. Городская легенда. Но другие, не менее авторитетные современники, утверждают, что да, было! И даже указывают дату и концертный зал. Я думаю так: даже если этого не было, это было все равно. Эта картинка-пазл собрана из абсолютно реальных кусочков нашего советского быта. Он же – бытие.

#### Автомобиль

Несмотря на все заклинания Остапа Бендера, автомобиль в мои студенческие годы всё еще оставался роскошью, а не просто средством передвижения. Человек, у которого есть машина, автоматически поднимался на более высокую ступень по социальной лестнице. И уж нечего говорить, как машина, а в иные моменты даже мотоцикл, помогали добиваться успеха у девушек. Не только потому, что это было удобно: парень мог встретить и проводить на машине, можно было поехать на дачу к подруге на машине, можно было просто поехать погулять в

лес – опять же, на машине. Не в этом дело. Дело в самом факте. Машина, кстати говоря, в то время стоила очень дорого. Плюс-минус 5000–6000 рублей. Это при официальной средней зарплате никак не больше 150 рублей в месяц. Даже люди, которые получали 250–300, пусть даже 500 рублей в месяц (это считалось очень высокой зарплатой), все равно не могли позволить себе машину эдак сразу. Приходилось копить, а иногда даже одалживать. Хотя в конце 1960-х произошел существенный переворот в автомобильном деле – появились “Жигули”. Машина более или менее современная, копия сравнительно недавней итальянской модели, и технически гораздо более совершенная, и симпатичная внешне. По сравнению с “Жигулями” “Волга” вдруг стала выглядеть старомодно. Хотя до середины 1970-х “Волг” первого выпуска (так называемая 21-я) было еще очень много, и их хозяева не особенно страдали. Встречались и “Победы”, и “Москвичи” самых первых моделей, и даже, вы не поверите, трофейные БМВшки, совсем старинные, прямо как в фильме про Штирлица. Полностью они исчезли к началу 1980-х.

Итак, автомобиль повышал социальный рейтинг человека. Но и среди владельцев автомобилей тоже существовала своя иерархия согласно марке автомобиля. В 1970-е годы это выглядело так – снизу вверх: “Запорожец”, “Москвич”, “Жигули” первой модели (так называемая “копейка”), 21-я “Волга”, “Жигули” трешка или шестерка, 24-я “Волга” и, наконец, иномарка. Иномарок в Москве были вообще единицы. Я имею в виду, в частном владении. Но и на самой верхушке тоже была своя иерархия, а именно – опять снизу вверх: серая “Волга”, черная “Волга”, на этих машинах ездили начальники главных управлений, директора НИИ, а также жены и дети тех высоких начальников, которым была положена дополнительная машина “для обслуживания семьи”. Дальше шла “Чайка” – в Москве это министры, на периферии первые секретари обкомов. Дальше коротенький, то есть пятиместный ЗИЛ – это секретари ЦК КПСС, не входящие в Политбюро. И наконец, семиместный ЗИЛ – члены Политбюро, а также зампреды Совета Министров.

### **Агитаторы на выборах**

Разумеется, они никого не агитировали. Однажды я попросил агитатора, молодую приятную женщину, пройти в квартиру, присесть за стол, попить чаю и разъяснить мне политическую платформу того единственного и безальтернативного кандидата, за которого мне предстояло опустить бюллетень в ящик. Она разозлилась, спросила, где я учусь, а когда я спросил зачем, она сказала: “За такую провокацию я руководству вашего вуза сообщу”. Понятно, что она разозлилась – потому что я, как нынче говорят, прикалывался.

Агитаторы ходили по квартирам вот зачем. Во-первых, они сверяли списки избирателей. Но самое главное, они следили за тем, чтобы никто не улизнул от выполнения своего гражданского долга. Я сам, уже когда работал в Высшей дипломатической школе (потом – Дипломатическая академия МИД СССР), тоже вместе с друзьями обходил квартиры и поторапливал избирателей.

### **Агитплакат**

В нашем доме в Каретном Ряду были большие стеклянные витрины на первом этаже: там была библиотека. В этих витринах вывешивались огромные полотнища бумаги, на которых были изображены как положительные, так и отрицательные герои нашего времени, и всё это сопровождалось стихами.

Например, изображен был тощий красноносый мужичонка, из кармана торчит бутылка водки. Вот он стоит, жалкий и слабогрудый, перед врачом. Вот он машет кулаками на жену, которая прикрывает от него двоих детей. И вот, наконец, он стоит перед станком, а на пол сып-

лются бракованные детали, какие-то покореженные шестеренки. И текст: “Привычке пагубной в угоду он враг себе, семье, заводу”.

По контрасту – что-то очень положительное. Приятный русоволосый мужчина, по виду партработник среднего уровня, сидит за письменным столом в свете уютной настольной лампы и, подперев голову кулаком, читает толстую книгу в синем переплете, а рядом лежит раскрытая тетрадка, карандаш, и в тетрадке уже написано несколько строк. И всё это на фоне большого книжного шкафа, в котором стоят такие же синие книжки. И стишок. Только не смейтесь, это писалось на полном серьезе: “Когда задачи важные решаем, когда выходим на крутой подъем, я снова с книжной полки том снимаю и с Лениным советуясь во всем. И ничего для нас дороже нет, чем добрый мудрый ленинский совет”.

А вот и на международную тему. Например, недавно в Англии были размещены американские ракеты. И на картинке на зеленой лужайке, которая очертаниями отдаленно напоминает Британские острова, стоит ракета. Разумеется, с американским флажком на фюзеляже. А рядом с ракетой сидит лев в жилетке из британского флага. Хвост этого льва соединен с ракетой. У льва очень жалобный вид, он скорее похож на пуделя. А перед ним стоит бойкий старичок в цилиндре и звездно-полосатой жилетке и пальцем готовится нажать на нос британского льва. И стишок: “Хоть царь зверей, а смотрит робко. Ведь он не лев, а просто кнопка”.

Такие плакаты висели в наших витринах, регулярно сменяясь. Я присматривался. Это были подлинники, нарисованные самой настоящей гуашью, а стишки были написаны тушью и плакатным пером. Имена поэтов и художников тоже были указаны. Была, наверно, целая большая мастерская, где изготавливались эти шедевры визуальной публицистики. Где они теперь? Надеюсь, где-то все-таки хранятся все эти передовые рабочие и работницы, здоровые семьи, животноводы, комбайнеры, а также инженеры и даже ученые. Ну и, с другой стороны, алкоголики, хулиганы, бракоделы. И конечно, капиталисты с толстыми пузами, похожими на мешок, на котором для убедительности было написано “\$ 100.000.000”, сионисты – как правило, одноглазые, намек на Моше Даяна. Вдобавок поп-музыканты – уродливые, волосатые, рвущие струны своих электрических гитар. Не забыть бы и прогрессивное человечество – африканцев, индийцев, кубинцев, индонезийцев. И разумеется, вьетнамцев. А вот китайцев по причине ссоры СССР и Китая – не было. А если и были, то редко-редко, и в категории зарубежных злодеев. Вот такая вот картина мира.

## **Алкоголь и борьба с ним**

Пили много и легко. Бутылка дешевого портвейна стоила максимум 1 рубль, в крайнем случае 1 рубль 50 копеек. Цена на водку все время подрастала. Классическая 2,87 “Московская особая” (при этом была “Столичная” за 3,12 и разнообразные настойки, которые стоили чуть подороже, и, разумеется, “Старка”, которая стоила почти 4 рубля). Скоро водка стала стоить 3,62, а потом, уже в конце брежневской эпохи, цены поползли вверх.

Бесконечные шутки, прибаутки, анекдоты, поговорки романтизировали и героизировали пьянку. Не говоря уже о том, что почти все мужчины и не так мало женщин имели в своем личном архиве кучу историй про то, как они кирнули, тяпнули, приняли на грудь, врезали, долбанули, дали дрозда, и в результате наклюкались, назюзюкались, нажрались, надрались – до потери пульса, до синих кузнечиков, до поросячьего визга, в стельку, вдрабадан, вдребезги, в опилки, в муку и так далее.

Официально, разумеется, “борьба с пьянством и алкоголизмом” велась с большим размахом. В столовых висели плакатики: “Приносить и распивать спиртные напитки строго воспрещается!” В ресторанах ограничивали подачу водки – заказать можно было не более ста граммов. А коньяк – пожалуйста. Хоть две бутылки. Однажды я спросил у официанта, какая здесь логика. Он ответил: “Водка – это выпивка. А коньяк – напиток”.

При этом водка была очень нужна государству, и вовсе не для того, чтобы спаивать и одурманивать народ. Это был хоть и полезный, но побочный эффект. Водка была нужна для выполнения кассового плана: чтобы деньги, выплаченные трудящимся, не оседали у них на сберкнижках, а тем паче в кубышках – а возвращались обратно в казну. Но в Советском Союзе выпускались в основном товары, которые не продавались на потребительском рынке, – ракеты, подлодки, самолеты (истребители, бомбардировщики) и тому подобный дорогостоящий, но совершенно не рыночный товар. А на потребительском рынке всё усиливался дефицит, поэтому приходилось развивать торговлю винно-водочными изделиями. Просто для того, чтобы было чем выплатить зарплату в следующем месяце. Такая вот невеселая спираль. Но это мы, да и то не все мы, а только некоторые светлые головы, поняли от силы в конце 1980-х и начале 1990-х. А в 1970-х – пей, гуляй, веселись. Мы и веселились. Во всяком случае, в нашей компании. А кто без греха, пусть первый бросит в нас пустую бутылку.

### **Аморалка**

Аморалкой называлась супружеская измена, попавшая в поле зрения парткома и разобранная на заседании или на общем собрании. Всё как в песне Галича “Товарищ Парамонова”. Так что “аморалка” был термин скорее юридический или партийный, но никак не моральный в точном смысле слова. Потому что аморального поведения в простом и понятном смысле было очень много. Измены, побочные дети, браки втроем – сколько хочешь. Но срабатывал принцип презумпции не то чтобы невиновности, а незаметности.

Советский Союз был иерархичен вдоль и поперек, каждому сверчку принадлежал свой шесток, социальные лифты были, но туда тоже была очередь и в какой лифт войти, и на какую кнопку нажимать. Поэтому иногда казалось, что “наверху” аморалки больше, чем “внизу”. Но – только казалось. Распутство, как и пьянство, в СССР было ровным слоем размазано по всем социальным слоям. Я не знаю, где было веселее – в богемной компании молодых поэтов и художников, среди номенклатурных детишек (по-нынешнему – мажоров) или в молодом рабочем коллективе. Не говоря уже о колхозе.

### **Анекдот**

Анекдотов было много. Этнические анекдоты – про грузин, про армян, отдельно – “армянское радио” (это была целая отрасль. “Армянскому радио задают вопрос, армянское радио отвечает”). Разумеется, про евреев. Про чукчей. Про украинцев. Причем каждый раздел был как бы особым жанром, а представитель каждого народа – характерное амплуа, вокруг которого строилась фабула. Анекдоты про секс – про жену, мужа и любовника; про любопытного сыночка и его родителей; просто про любовников, попадающих в разные эротические передряги. Отдельно анекдоты про гомосексуалов. Анекдоты про школьников и учителей, отдельно анекдоты про Вовочку – нахального и остроумного третьеклассника. Ну и, конечно, бесконечные анекдоты “встретились русский, француз и американец”.

Самые смешные анекдоты – политические. К концу 1960-х анекдоты про Хрущева уже стали забываться. А анекдоты про Брежнева начались в 1973 году после того, как наш генсек перенес инсульт и начал шепелявить и чмокать губами. В этих анекдотах бедняга Леонид Ильич рисовался феноменальным идиотом, но добрым человеком. Возможно, в каком-то смысле это отражало действительность.

## Анкета

Я, конечно, не застал тех огромнейших и подробнейших анкет, которые описывал Солженицын в своем романе “В круге первом”. Но и в мое время анкеты тоже были весьма пространные. Обязательный вопрос – находился ли я на временно оккупированных территориях в период войны. Подробные сведения о родителях. Если родитель умер, то обязательно – где похоронен. Возможно, что это действительно зачем-то нужно, но почему-то вызывало ярость. Мне казалось, обо мне и так всё известно во всех подробностях, а анкету меня заставляют заполнять не для того, чтобы получить какие-то дополнительные сведения, а чтобы проверить, не навру ли я где-то, не запутаюсь ли. И это больше всего бесило.

Особенно интересным был такой пункт анкеты, что приходилось мне заполнять: “Если у вас есть ответы на вопросы, которые не заданы в данной анкете, напишите их на отдельном листе и вложите в данную анкету”. Это звучало устрашающе – ответы на незаданные вопросы. Сразу в голове начинают вертеться какие-то опасные тайны. Например: в анкете не задан вопрос, сколько раз я изменял жене и с кем. Или – спал ли я с замужними женщинами, а если да, то кто были их мужья. Сколько раз, когда и при каких обстоятельствах я общался с иностранцами. Не делались ли мне предложения, которые могли бы показаться странными, необычными или опасными. Ответы могут заинтересовать компетентные органы. Поэтому давай, голубчик, проси у начальника белую бумагу и садись пиши всё как было.

## Б

### “Березка”

Так назывались магазины, в которых можно было купить импортные вещи. Причем не только промтовары, но и еду. Правда, это были отдельные “Березки”. Цены там были обозначены в рублях, но платить надо было специальными, как они тогда назывались, чеками Внешпосылторга, в просторечии сертификатами. Это были бумажки самого разного номинала – от 100 рублей до одной копейки. Потому что сдачу в кассе получали этими же самыми сертификатами.

Сертификаты тоже были разные – с широкой полосой или без нее, так называемые бесполосые. Бесполосые считались ценнее и у спекулянтов продавались дороже. Почему? Потому что на них можно было купить такие товары, которые не продавались за полосатые. В чем тут секрет? А секрет был в том, что эти чеки, они же сертификаты, выдавались советским гражданам, которые работали за границей. Проще говоря, их давали в обмен на заработанную там валюту. Если советский человек работал в капиталистических странах, то есть в зонах, где царили доллар, фунт, иена, франк, марка и так далее, ему в обмен на эти деньги полагались бесполосые, а если он работал там, где люди расплачивались злотыми, левами, леями, чехословацкими кронами и монгольскими тугриками, вот тут извини-подвинься. Слабая валюта – полосатый чек.

Были и чисто валютные “Березки”, торговавшие на доллары, но это уже для иностранцев.

Советские люди покупали сертификаты у счастливых, вернувшихся из-за границы. Если мне не изменяет память, по курсу один к четырем. Собственно, таков и был реальный курс, то есть чернорыночный курс доллара. Во всяком случае, в те годы, о которых я пишу. В газете же раз в месяц публиковался бюллетень курсов иностранных валют, и там доллар стоил 70 копеек. Но советские люди от валюты, как правило, шарахались – 88-я статья Уголовного кодекса, вплоть до высшей меры. Сертификаты покупали смелее. Если в “Березке” могли задать вопрос: а откуда у вас, товарищ чеки Внешпосылторга – можно было всегда сказать, что брат подарил или сестра попросила купить, а также тетя, племянница, кузина и так далее. С валютой такие оправдания не проходили.

Советские люди, допущенные до “Березки”, очень ревностно берегли свою избранность. Одна знакомая молодая женщина получила в подарок от родителей, богатых людей, какую-то вполне серьезную сумму в чеках. Пошла в “Березку”, выбрала себе дубленку, раскрыла сумочку, и выяснилось, что у нее не хватает одного рубля. Вот этого, чеково-сертификатного. У нее было 150 рублей, а дубленка почему-то стоила 151. “И вот, – рассказывает она, – я в расстроенных чувствах выхожу из магазина, стою, озираюсь растерянно и вижу, что следом за мной вышла очень приятная интеллигентного вида женщина. И я ей все объясняю. И говорю: «Пожалуйста, если вам не трудно, если у вас есть такая возможность, продайте мне, пожалуйста, один чек, а я вам заплачу сколько вы скажете – хотите, пять рублей, хотите, десять». А она вдруг как закричит, так что все прохожие обернулись: «Да как вы смеете? Да что вы мне предлагаете? Во что вы меня втягиваете? Я сейчас милицию позову, я сейчас вас сдам в милицию!»” И бедная моя подруга едва унесла ноги. “Вот ведь сволочь! – сказала она мне. – Ну что ей один чек. Видит же – стоит девушка, слезами обливается. Дубленка моей мечты улетает”. А я ей объясняю: “Ты говоришь – сволочь, сволочь, а она просто трусиха. И я ее отчасти понимаю. Достает она кошелек, отдает тебе один чек, ты ей передаешь пятерку, и в этот самый момент из-за спины плачущей девушки вдруг два человека в штатском хватают ее за руки и говорят: «Спекуляция! Пройдемте, гражданка»”.

В общем, человек человеку либо сволочь, либо провокатор.

## Билетики

Шел троллейбус по улице, а в салоне всё время слышалась одна и та же загадочная для нынешнего времени фраза: “Копеечку не опускайте, пожалуйста!” Что бы это значило?

Всё началось в самом конце пятидесятых, до реформы-деноминации 1961 года. Московские власти – а может, не только московские – ввели единую стоимость проезда. Сорок дореформенных копеек, то есть четыре копейки образца 1961 года за проезд на троллейбусе на любое расстояние. Помню, как возмущалась наша соседка по коммунальной квартире. “Теперь не наездишься!” – говорила она и грозилась, что будет ходить пешком. Ее можно было понять. Ей до работы была всего одна остановка. Одна-две остановки стоили 10 копеек, три-четыре остановки – 15 копеек, и так далее чуть ли не до рубля. Цены, повторяю, дореформенные. У кондуктора на животе висела большая кожаная сумка с мелочью, а сверху к ней были приделаны ролики с разноцветными билетами. Пассажир входил, сообщал кондуктору, куда он едет, и кондуктор выдавал ему соответствующий билетик. Такие билеты до начала 1990-х сохранялись на пригородных автобусных маршрутах.

Но вот “по просьбам трудящихся” установили единую плату за проезд. Казалось, советские трудящиеся больше всего боялись, чтобы жизнь медом не показалась, и поэтому они всё время просили свое родное советское правительство потуже закрутить гайки или просто что-нибудь отнять. Например, по настоятельным просьбам трудящихся правительство отменило выплаты по внутренним займам. Горы облигаций, которые трудящихся заставляли приобретать, превратились в бумажный мусор. По просьбам ветеранов-орденоносцев правительство отменило выплаты за боевые награды. Хотя уже тогда всем было ясно, что эти “просьбы” сочинены властью – как оправдание жестких решений.

Итак. Три “новых” копейки на трамвае, на троллейбусе – четыре, на автобусе – пять. На метро тоже пятачок. Дорого это или дешево? Думаю, очень дешево. Паритет покупательной способности брежневских и теперешних рублей – примерно 1:150. То есть билет стоил самое большее десять рублей по-нынешнему.

Довольно скоро кондукторы исчезли. Гражданам пассажирам предлагалось оплачивать проезд самостоятельно. Это было связано с продвижением к коммунизму, к обществу полной сознательности. Потом, в самом начале семидесятых, про коммунизм забыли, но “самооплатные” кассы остались. Выглядело это так: в начале и в конце вагона стояли железные ящики, а сверху было устроено прозрачное пластмассовое навершие – со щелью, куда кидать монетки. Они попадали на крышку ящика. Когда монеток накапливалось много, крышка под их тяжестью слегка опускалась, и они соскальзывали в ящик. А сбоку была билетная лента, в такой кассете с ручкой. Заплатил и сам себе выкрутил билет. Люди не брали билеты просто так, бесплатно. Стыдились, наверное.

Водитель, в промежутках между объявлением остановок, говорил через микрофон: “Граждане пассажиры! Не забывайте своевременно и правильно оплачивать свой проезд. Проездные билеты предъявляйте! У водителя имеются в продаже абонементные книжечки, а также, начиная с двадцатого числа, проездные на следующий месяц!”

Кстати, проездные билеты без шуток предъявляли. Входил человек и громко говорил: “Проездной!” Иногда даже доставал его из бумажника и поднимал над головой.

В Питере всё не так: наш хлеб у них булка, наш тротуар у них панель, так вот – наш проездной у них карточка. В Питере вошедший громко говорил: “Карточка!”

Были еще абонементные книжечки – это такие пакетики на десять талонов. Талоны надо было бросать туда же, в кассу.

Итак, билет или талончик стоил три, четыре или пять копеек. Легче всего было в трамваях или автобусах, потому что были трёх- и пятикопеечные монеты. А в троллейбусе вокруг кассы всегда была небольшая толпа и голоса: “Мелочь не опускайте! Копеечку не бросайте, пожалуйста!” То есть я опустил пятак, а у кого-то три копейки и копейка, и вот я прошу, чтоб он мне эту копейку отдал. Потому что я пятак уже опустил. Ну, или я опустил гривенник, тогда мне надо получить пять, шесть, а то и семь копеек сдачи – в зависимости от того, автобус это, троллейбус или трамвай.

Случались сложные транзакции. “Гражданин, не опускайте... Сколько у вас? Десять? Давайте сюда, держите две, и гражданка вам даст две, а тот товарищ должен женщине три, а она вам одну, и с того товарища еще одна”. Всё на доверии. Никто не говорил: подумаешь, мелочь какая! Потому что, например, две копейки – это звонок по телефону-автомату. А одна копейка – это коробка спичек. Или стакан газировки без сиропа. Если бутылка водки стоит 2,87, то никто тебе ее за 2,86 не продаст.

Помню, году этак в 1970-м поздним вечером сажусь в троллейбус. Народу никого. У меня пятак. Я его бросаю, отрываю билет, жду. На следующей остановке входят два араба. Я потом только понял, что они арабы, по их разговору. А так просто два южных хорошо одетых товарища. Я говорю: “Копейку не опускайте, пожалуйста”. Один мне отвечает: “*Pardon?*” Я не понял, что он иностранец. Мало ли! Я говорю: “Одну копейку дайте мне, пожалуйста”. Он поворачивается к своему другу, они переговариваются. Тут я услышал, что по-арабски – скорее всего. Оборачиваются и протягивают мне по три рубля каждый. Ласково улыбаясь при этом. Сначала я, как гордый советский парень, хотел возмутиться, но потом улыбнулся в ответ и отрицательно помотал головой. Дескать, “*merci, merci, no need, ne nado!*” Потом вошла какая-то старушка, и я с нее получил копейку. А арабы долго выясняли у водителя, как им заплатить за проезд. Кажется, он махнул рукой и сказал: “Езжайте так”.

В газетах писали, что надо сделать проезд вообще бесплатным. Потому что инкассация мелких монеток обходилась дороже, чем собранная сумма. Однако пойти решили по другому пути. Отменили монетные кассы. Платить надо было только талончиками. Они стали выпускаться не в виде книжечки, а в виде ленты-гармошки. В троллейбусах, автобусах и трамваях появились компостеры. Законопослушные граждане компостируют талон, а выйдя из троллейбуса – выбрасывали. Граждане, склонные к обману государства, поступали иначе. Они отрывали талончик, а потом компостировали его нежно, едва-едва, стараясь не прорвать бумагу. Придя домой, они слюнили его, затирали дырки и высушивали между страницами книги. Через полчаса талончик становился как новенький, и не всякий контролер мог разглядеть, что его пробивали и зализывали уже раза два.

Были граждане, которые сочетали в себе законопослушание и жульничество. Контролеру они предъявляли целую кучу компостированных талончиков, которые у них хранились в наружном кармане пальто. “Куда-то я его сунул... – задумчиво говорил пассажир. – Этот? Нет. Этот? Тоже нет? Сейчас поищем...” Бывало, что контролер отставал. Вообще же в те годы договориться с контролером было куда легче, чем теперь.

## Блат

Еще в старом фельетоне Ильфа и Петрова “Человек с гусем” рассказывалось, сколь большое значение в Советском Союзе имел блат. То есть устройство своих дел по знакомству или за вознаграждение, что, впрочем, тоже было связано со знакомством. Вполне возможно, что эта тетенька у “Березки”, которая отказалась продать моей подруге один чек номиналом в один рубль, сама доставала свои чеки по благу.

Деньги в Советском Союзе значили очень много, но чаще всего они работали вместе со связями. По благу в СССР можно было достать всё что угодно. Это было так распространено,

что даже слово “блатной” в начале 1970-х имело два значения. Первое, старинное – уголовник, принадлежащий к касте “блатных” (“воров”), в отличие от “мужиков”, “фраеров”, “чушек” и прочих низкоранговых обитателей зоны. Второе, новое значение – человек, который устроился по блату: блатной студент, блатной сотрудник. Иногда возникала путаница. Когда-то в нашей дворовой компании я рассказывал о каком-то парне и сказал “блатной”, имея в виду, что он очень ловко пристроился на теплое место. А один из наших, недавно отсидевший за валюту, взглянул на меня и удивился: “Он? Блатной? Не может быть. По-моему, фраер”.

### **“Блок коммунистов и беспартийных”**

Вот такая в СССР была единая и нерушимая политическая сила. Все депутаты выдвигались не от КПСС, а от этого блока, и никакому беспартийному депутату в страшном сне бы не приснилось сказать или даже подумать, что он беспартийный депутат. Все были повязаны.

### **Большой друг советского союза**

Это была этикетка, которую приклеивали к так называемым прогрессивным зарубежным писателям. Но речь обычно шла не просто о писателях-коммунистах. Речь шла о тех, кто часто приезжал в СССР, заседал в президиумах международных конференций, широко публиковался и даже получал Международную Ленинскую премию “За укрепление мира между народами”. Сейчас мне кажется, что эта этикетка была прозрачным намеком: это – наш человек, мы ему платим. . .

### **Борец за мир**

Сам слышал, как один скромный советский писатель сказал другому, гораздо более известному и богатому: “Послушай, ты всё время ездешь за границу. Почему тебя так легко выпускают?” Тот объяснил, что ездит не просто так, а бороться за мир. “Я тоже хочу бороться за мир! – воскликнул первый. – Я тоже за мир и дружбу, а также за всеобщее и полное разоружение!” Второй писатель быстро свернул разговор, который проходил в Доме литераторов на глазах нескольких свидетелей. А действительно, что он мог ответить? Не мог же он честно сказать, что звание “борец за мир” – это всего лишь дополнительная, хотя очень ценная награда за лояльность и преданность. Награда, состоящая в том, что человека часто командировали, причем за государственный счет, в самое логово поджигателей войны. Чисто советский парадокс: главной наградой за патриотизм и преданность коммунизму становится возможность бесплатно бывать за границей.

## В

### Валютчик

“Во всем мире люди покупают и продают валюту”, – растерянно говорил европейский муж своей русской жене в фильме “Интердевочка”. В нашем мире всё было наоборот. В Уголовном кодексе были статьи “Частное предпринимательство”, “Коммерческое посредничество” и, наконец, “Валютные операции” – знаменитая статья 88 Уголовного кодекса, в просторечии “крылышки”.

Валютчик – аристократ преступного мира. Работа чистая, умственная и очень выгодная. Валютчиков наказывали особенно сильно. Мне кажется, тут был своеобразный символизм. Потому что и частники, и посредники орудовали внутри страны и на родные денежки. А валюта – это был символ манящей и запретной заграницы. Однако доллары, а также фунты, франки, марки в больших городах купить было можно. И самое главное, на заграничные дензнаки можно было что-то купить. Иногда для этого изобретались хитроумные схемы, иногда просто деньги передавались в подворотне. Да, конечно, риск, но кто не рискует, тот не пьет шампанское.

### Взятка

Честный советский человек, которому говорили “надо договориться, надо подмазать, надо дать”, в отчаянии восклицал: “Ну не умею я давать взятку”. Честного советского человека можно понять. Точно так же люди, приехавшие из глухой деревни, не умеют пользоваться городским транспортом. Но на второй-третий день прекрасно обучаются проходить через турникет метро. То же и про взятку.

Первая часть обучения – вынести за скобки вопросы морали. Вторая часть – научиться некоторым словам и выражениям. Протянув конверт, набитый купюрами, нужно сказать: “Вот здесь я очень подробно изложил свою просьбу. Прочитайте, пожалуйста, когда будет время”.

Вознаграждение продавцу за дефицитный товар и вовсе не считалось взяткой. Но были и некоторые запретные слова. К примеру, когда договариваешься о взятке, лучше не говорить “я буду вам очень благодарен”. Потому что черт тебя знает, как ты будешь благодарить. Может, ты будешь долго кланяться и клясться, что дети твои помянут меня в молитвах, а это мне на фиг не нужно.

Было еще слово-пароль “деловые отношения” (см. далее).

### Временные трудности (ср. “отдельные недостатки”)

Кроме уверенных шагов к коммунизму, из которых состояла наша жизнь, встречались, разумеется, трудности. Многим трудностям к 1970 году было уже полвека. Но все равно они считались временными. “Не надо обращать внимания на временные трудности”, – говорилось на комсомольских и партийных собраниях. В основном эти временные трудности относились к производству товаров широкого потребления, а также к доставке этих товаров в магазины.

Временные трудности имели свойство нарастать год от года. В конце концов их накопилась такая грандиозная куча, что проще было начать всё сначала. Что и произошло в 1991 году.

## **Всенародная поддержка**

Это была тоже очень важная риторическая фигура. Часто она шла рядом с временными трудностями. “Несмотря на временные трудности, политика партии пользуется всенародной поддержкой”. У этой вроде бы безобидной риторической фразы был, как выяснилось, долгоиграющий педагогический эффект. Известное дело: если человеку говорить, что он талант и умница, он что-нибудь хорошее да сделает в конце концов. А если убеждать его, что он дурак и пьяница, он будет гнать брак на работе и сопьется. То же и с поддержкой. Если народу больше чем полвека объяснять, что он единодушно одобряет курс партии и правительства, то где-то в третьем поколении он начнет единодушно поддерживать и одобрять уже совершенно искренне.

## **Встреча иностранных гостей**

Официальные делегации из-за рубежа прибывали в аэропорт Внуково. Оттуда по Киевскому шоссе на Ленинский проспект и дальше по улице Димитрова (раньше и ныне Якиманка) через Каменный мост – и в Кремль. По всей длине этого маршрута по обеим сторонам, начиная едва ли не от перекрестка с улицей Лобачевского, стояли толпы встречающих, поскольку движение на Ленинском проспекте и остальных магистралях перекрывалось полностью. Правда, ненадолго: весь проезд занимал минут двадцать самое большее. Людей, в основном научных сотрудников и инженеров, реже рабочих, снимали с работы, отводили на заранее известный участок улицы, раздавали флажки, приветственные транспаранты и бумажные цветы. Помню, один знакомый кандидат наук говорил: “Нам дико повезло, стоим прямо напротив универмага «Москва», совсем рядом с нашим институтом”.

И вот, когда в закрытом бронированном членовозе по пустому Ленинскому проспекту в окружении эскорта мотоциклистов и с сопровождением машин с охраной на скорости около ста километров в час летел товарищ Юмжагийн Цеденбал или госпожа Индира Ганди, они, наверное, с некоторым изумлением видели вдоль всего пути толпы москвичей, размахивающих флажками, один из которых был красным, другой национальным.

## **Вся страна (весь народ) как один человек**

Это тоже традиционная риторика, унаследованная у 1930-х годов, но и в 1970-е еще вполне актуальная.

## **Выборы**

Выборы случались довольно часто. Это были выборы в Верховные Советы СССР, РСФСР, а также в Московский городской совет и в районные советы. Иногда их объединяли, и поэтому в избирательную урну надо было опускать три, а то и четыре бюллетеня. Но в любом случае в бюллетене было всего лишь одно имя, поэтому выборами эту процедуру на самом деле назвать было нельзя. Это был ритуал подтверждения лояльности, в котором заставляли принимать участие всех людей.

На избирательных участках продавали разные вкусные вещи. Играла музыка. В газетных отчетах писали, что в выборах приняло участие 99,5 процентов населения. Это, разумеется, неправда. По техническим причинам максимальная явка не бывает выше 95-ти.

Была такая штука – открепительный талон.

Если я, например, собираюсь уехать в другой город или к бабушке в деревню, я прихожу на свой избирательный участок и беру так называемый открепительный талон, который дает мне право проголосовать на любом другом избирательном участке по моему выбору.

Рядом с нашим домом было два избирательных участка. Один наш, другой соседний. Я, еще учась на первом курсе, измерил шагами расстояние от нашего подъезда до каждого участка, и выяснил, что до нашего идти на 150 шагов дольше, чем до соседнего. Поэтому я примерно за пару недель до выборов приходил на наш участок и брал открепительный талон. А голосовать ходил на соседний. Выборы были по воскресеньям, а в субботу я уезжал на дачу. Когда с родителями, а когда и с девушкой. Родители мои не ходили на выборы вовсе.

Но в воскресенье в половине шестого я собирался в Москву и примерно без четверти восемь, то есть перед самым закрытием избирательного участка, вбегал туда, потрясая своим открепительным талоном и паспортом и кричал: “Мне проголосовать! Уф, слава богу, успел, какое счастье!” Сотрудники избирательного участка смотрели на меня со вполне понятной ненавистью. Хотя им-то что? Они все равно должны были там торчать до восьми.

Что это было? Протест? Да нет, конечно. Дурака валял.

### **Выбросили!**

Это слово обозначало внезапное появление на прилавке любого дефицитного товара. Вчера в ГУМе выбросили венгерские кофточки. Иду мимо продмага, смотрю – толпа. Мандарины выбросили. И так далее. То есть выбросили не в помойку, а на прилавок, точнее говоря, бросили в изголодавшуюся толпу.

### **Выездная торговля (дефицит продают по месту работы)**

Поскольку временные трудности, особенно по части снабжения населения качественными промышленными товарами, всё время нарастали, то выбрасывать венгерские кофточки на прилавок становилось просто опасно. Во-первых, люди могут покалечиться. Но главное, спекулянты могут купить, а потом перепродать и наживаться. И наконец, продавцы и директора магазинов на этом тоже будут греть руки.

Дефицит порождает коррупцию, это понятно. Простой выход из положения – разрешить свободное предпринимательство и свободную торговлю – был закрыт наглухо. Наладить производство в рамках плановой экономики социализма – тоже почему-то оказалось невозможно. Поэтому надо было сосредоточиться на справедливом распределении. Один из способов – выездная торговля. На заводе, в конторе, в НИИ заранее составляются списки желающих приобрести тот или иной товар. Иногда этот товар даже заранее распределяется. Типа вам, Марья Петровна, кофточка и бюстгальтер, а вам, Клавдия Иванна, сапоги и зонтик. И в назначенное время приезжает фургон с вождленным дефицитом, и его продают за наличный расчет, сверяясь со списками.

## 5. Стройотряд

Следующая трудовая экспедиция была куда интереснее – или же лучше сохранилась в памяти, что на самом деле одно и то же.

Это было лето после третьего курса. Мы уже учились в новом здании на Ленинских горах. Оно называлось ГФ-1 – первый корпус гуманитарных факультетов. Там было просторнее и удобнее, филфак занимал целых два этажа – девятый и десятый. На одиннадцатом были философы, на восьмом – историки. Поточные аудитории были внизу, на первом-втором этаже (то есть они спускались амфитеатром со второго этажа на первый, и это было удобно: опоздав, можно было тихонько войти через верхнюю дверь). Один маленький недостаток: высокое плоское здание развернуто поперек ветра, аудитории были по обе стороны коридора, так что окно – дверь, дверь – окно были на одной линии, и от этого окна и двери постоянно хлопали. И еще: все двери были стеклянные, видно было, кто сидит в аудитории и кто идет по коридору; это отвлекало, поэтому стекла постепенно закрашивали.

Но это ерунда, разумеется. Главный недостаток – отсутствие психодрома, нашего любимого скверика со скамейками, на которых было так приятно сидеть, болтать, читать... Перед новым корпусом был газон, и скамейки тоже были, но – все равно это не психодром. Он остался там, на Моховой.

Нас собрали в поточной аудитории и сказали, что такого-то числа мы едем помогать строить совхоз “Московский”. Конечно же, объяснили, что это очень важная стройка – огромное тепличное хозяйство, где будут выращивать помидоры и огурцы для нашей славной столицы. Сидевший рядом со мной Володя Орел тут же объяснил, что не для столицы, а для цеховских спецраспределителей. “Почему?” – спросил я. “Потому что тепличных огурцов на всех не хватит”.

Тем временем с трибуны наш комсомольский секретарь Шамиль Умеров объяснял, что поездка в стройотряд – дело совершенно добровольное. По залу пронесся некоторый шум, и встал Юра Гинзбург, мастер задавать дурацкие вопросы...

\* \* \*

...На вводной лекции, когда профессор Степанов спросил, какие будут вопросы, Юра Гинзбург тут же поднял руку и громко поинтересовался, что надо сделать, чтобы поступить в аспирантуру. Мы все в голос заржали – хорошенький вопрос на первом курсе в первый день на первой лекции! Но профессор Степанов совершенно серьезно ответил, что нужно хорошо учиться, выбрать тему, найти себе научного руководителя, записаться в научное студенческое общество и делать доклады по избранной теме. Нам стало еще смешнее, потому что Юра Гинзбург внешне никак не вязался с обликом молодого ученого, посетителя библиотек, докладчика на студенческих конференциях и всё такое прочее. Хотя, конечно, опыта у нас не было никакого, мы и сами второй час были студентами, но уж больно Юра был весел и кругл...

\* \* \*

Итак, Юра Гинзбург спросил: “Правда, добровольно?” – “Абсолютно добровольно!” – повторил Шамиль Умеров. Все зашумели еще громче. Но Шамиль уточнил: “Настолько же добровольно, насколько добровольно пребывание в комсомоле. И следовательно, пребывание в университете, на филологическом факультете”. – “Намек понял!” – громко сказал Юра Гинзбург и сел.

Конечно, это жуткое безобразие и беззаконие. Нигде не сказано, что членство в ВЛКСМ – обязательное условие поступления в университет или пребывания в университете, коль ты уже поступил. Но все понимали, что есть закон, а есть обычай, и наш советский обычай сильнее любого закона, так что не надо пищать и жаловаться. Настрой у большинства ребят был именно таков. Всё наше диссидентство никогда не выходило за рамки застольного трепя и анекдотов про Хрущева, про Брежнева, про Сталина и даже про Ленина (“Продадим броневичок и устроим бардачок!”, “Революция переносится на пятницу!” и так далее). Никакого желания исправить ситуацию в наших головах и не ночевало. Хотя был один парень, который пытался всучить мне какую-то петицию, чтобы ее прочитал или подписал мой папа-писатель, а другой парень однажды дал мне прочитать что-то вроде листовки. Но листовочный период моей оппозиционной деятельности закончился в девятом классе. Я об этом рассказывал в предыдущей книжке, но на всякий случай повторю. Я вместе с несколькими ребятами на своей машинке печатал, так сказать, прокламации с требованием альтернативных выборов (тогда таких слов не было, мы писали просто “требуем выборов из двух и более кандидатов”). Смешно сказать, но это не имело никаких последствий. То ли наши листовки смыл дождь – мы их клеили на фонарные столбы, – то ли прохожие оказывались менее государственно сознательными, чем в знаменитом романе Ганса Фаллады “Каждый умирает в одиночку”. Так что пронесло. А второй, совсем не смешной, вывод заключается в том, что советскую власть никакие петиции, листовки, митинги – в общем, никакое диссидентство ни капельки не поколебало, ибо прав был профессор Геннадий Николаевич Пospelов: в Советской стране возможны только верхушечные реформы. И революции тоже верхушечные, дворцовые перевороты, что и показали 1980–1990-е годы.

Так что мы – во всяком случае, я и мои товарищи, те, за кого я могу отвечать, – жили в постоянном двоемыслии. Мы сильно, порой до сжатых кулаков возмущались беззаконием, несправедливостью, тупостью начальства, бессмысленным и затратным плановым хозяйством, цензурными запретами, интервенцией в Чехословакию и так далее и тому подобное. Но при этом играли по существующим правилам. Поэтому никто не возмутился словами Шамиля Умерова – дескать, не поедете в стройотряд, исключим из комсомола, а если исключим из комсомола, то выгоним из университета. Так – значит, так. А ежели кто хочет сачкануть, то есть законное средство – справка от врача.

\* \* \*

Если на морковке было только два курса: наш, первый, и второкурсники-журналисты – и всё, общим числом человек триста, то здесь, в совхозе “Московский”, собралась целая толпа. Два курса с филфака, наш и следующий, еще журналисты, почему-то Институт восточных языков МГУ и даже, представьте себе, Институт международных отношений, хотя это уже совсем другое ведомство. Мы жили в огромных солдатских палатках, на двадцать человек каждая. Палатки были крепкие, хорошо растянутые, с брезентовыми занавесками, которые были как настоящие двери, с пластиковыми окошечками, на высоком деревянном настиле и, главное, с прекрасными железными кроватями с упругими панцирными сетками. Матрасы тоже были неплохие.

В отличие от нашего морковного десанта, где всем распоряжался наш командир Караулов, здесь, как положено, были командир и комиссар. Я-то думал, что командиром будет какой-нибудь опытный стройотрядовец, возможно, из преподавателей, а комиссаром какой-нибудь бодрый комсомолёнок из студентов. Может быть, даже студентка. У нас были такие активистки, комсомольские богини, как их неизвестно почему называли. Но вышло всё наоборот.

Командиром стал наш однокурсник со славянского отделения из группы болгарского языка Сережа Иванов-Мумжиев.

Знаменитая фамилия, кстати говоря. Последний белый генерал, как писали в книгах о Гражданской войне. Кажется, его и расстреляли последним. Про белого генерала я, разумеется, узнал много позже. Не знаю, был ли его отдаленным потомком наш Сережа. Отец его был какой-то, как он сам выразился, не слишком известный журналист.

Сережа был человеком необычным. У него было чуточку странное, очень округлое лицо, округлое везде – круглый нос, круглые губы, круглые надбровные дуги, круглые глаза. Он был слегка похож на одного знаменитого киногероя, вернее, на его маску. Поэтому Сережу мы называли Фантомасом или, кратко и любя, Фантомкой, но старались не в лицо. Фигура у него тоже была круглая. Он был небольшого роста и очень силен физически. При этом мышцы тоже были какие-то круглые, вовсе не рельефные, а гладкие. Казалось, что он весь – один сплошной мускул, как ягуар. Он был чертовски вынослив, мог часами подавать раствор короткой лопатой человеку, который укладывает кирпичи уже довольно высоко. Нагибался, подцеплял из корыта порцию раствора, выпрямлялся и легко закидывал наверх. При этом он по-своему заботился о ребятах.

Мы занимались самыми разными вещами. Разумеется, среди нас не было ни одного специалиста по строительным работам, поэтому мы чаще всего подавали кирпич или тот же раствор профессионалам, то есть нормальным рабочим. Обегая стройку и проходя мимо нас, Сережа ласково спрашивал каждого: “Устал? Если устал, отдохни”. Это “устал – отдохни” мы слышали постоянно, и нас это бесило. Какое-то мы в этом видели издевательство, хотя, видит бог, Фантомас никого не хотел обидеть. Но выходило так. “Устал – отдохни!” Присядешь на землю или на доски, а минуты через три снова бежит Фантомас и говорит: “Отдохнул? За работу!”

Но человек он был неплохой – с несчастной судьбой, как оказалось. И первое несчастье постигло бедного Сережу на наших глазах.

Он был женат. Женился сравнительно недавно. Новенькое обручальное кольцо сияло на его широкой и сильной руке. Он рассказывал нам (причем сам рассказывал, безо всяких вопросов), что жена его тоже студентка, вот-вот уйдет в декретный отпуск, потому что беременна и должна скоро родить. Он говорил, что не относится к так называемым айнкиндерсистам. “Я не айнкиндерсист”, – говорил он. “А что это такое?” – спрашивали мы. Он охотно объяснял, ласково и зубасто улыбаясь, что айнкиндерсисты – это те, которые сознательно считают, что ребенок должен быть один (сдается мне, что он сам выдумал это слово, что-то склеил из немецких корней). “А у меня будет много детей, трое самое маленькое, – говорил он. – Ну а там уже посмотрим”. Все, особенно девчонки, всплескивали руками и желали ему всяческих благополучий. Но через несколько дней после этого рассказа он вдруг явился мрачный и сообщил, что его жена родила мертвого ребенка. Опять же, сообщил это сам, никто его об этом и не спрашивал. И сказал: “Это самое большое несчастье в моей жизни. На сегодняшний день по крайней мере”. Сказал это как будто без выражения и негромко. Но видно было, что он в самом деле подавлен.

Потом приехала его жена. Девчонки стали за ней всячески ухаживать, следить, чтобы она всегда была в теплых рейтузах, устроили ее жить в своей палатке...

А потом мне рассказали: то ли на пятом курсе, то ли на следующий год после выпуска Сережа купил себе “Жигули” в знаменитом автоцентре на Варшавке, рядом с МКАД. Он вывел из магазина свою машину, выехал на Кольцевую – тогда там еще не было разделительных оград, – и ему в лоб влетел грузовик. Сразу насмерть. Очень надеюсь, что в этой машине он был один, без жены, хотя подробностей не знаю.

А еще лет через пять я то ли в “Вечерке”, то ли в “Московской правде” увидел крохотный некролог, такой квадратик в черной рамочке, его отцу, этому *не слишком известному журналисту*. Как грустно.

\* \* \*

Комиссаром у нас был Владимир Николаевич Турбин. По-моему, он-то и должен был быть командиром. Он был заслуженный стройотрядовец. На рукаве его куртки, стройотрядовской куртки, было, вы не поверите, четырнадцать стройотрядовских нашивок. То есть он четырнадцать лет ездил в стройотряды, и вот этот раз был пятнадцатый.

\* \* \*

Что такое стройотряд? Стройотрядовское движение началось очень давно, в конце 1940-х, а то и в 1920-х. Тогда это были отряды студентов-добровольцев на великих и малых, тысяча извинений, стройках коммунизма. Потом, в начале 1960-х, стройотряды превратились в этакого кентавра. С одной стороны, это была партийно-комсомольская программа по воспитанию коллективизма и трудового энтузиазма. Поэтому были ритуалы посвящения в стройотрядовцы, почетные знаки, специальная форма (брюки и куртка хаки), галуны и нашивки, отмечающие каждый стройотрядовский год. С другой стороны, это был оплачиваемый труд, и опытные стройотрядовцы порой зарабатывали немало. Особенно если командир находил выгодный объект – например, срочно построить коровник или вырыть пруд, насыпать и укрепить дамбу. То есть стройотряд превращался в настоящую бригаду шабашников (нечто вроде старой русской артели).

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.